



Себастьян

Лев Николаевич Толстой

Фальшивый купон
(Повести)

Содержание

Часть первая	0006
I	0006
II	0012
III	0014
IV	0016
V	0018
VI	0020
VII	0024
VIII	0027
IX	0031
X	0035
XI	0037
XII	0040
XIII	0046
XIV	0050
XV	0054
XVI	0058
XVII	0060
XVIII	0063
XIX	0065
XX	0067
XXI	0070
XXII	0074
XXIII	0076
Часть вторая	0081

I.....	.0081
II.....	.0085
III.....	.0089
IV.....	.0095
V.....	.0098
VI.....	.0099
VII.....	.0101
VIII.....	.0104
IX.....	.0106
X.....	.0109
XI.....	.0112
XII.....	.0115
XIII.....	.0119
XIV.....	.0120
XV.....	.0122
XVI.....	.0123
XVII.....	.0126
XVIII.....	.0128
XIX.....	.0130
XX.....	.0131

Лев Николаевич Толстой

Фальшивый купон

Часть первая

I

Федор Михайлович Смоковников, председатель казенной палаты, человек неподкупной честности, и гордящийся этим, и мрачно либеральный и не только свободномыслящий, но ненавидящий всякое проявление религиозности, которую он считал остатком суеверий, вернулся из палаты в самом дурном расположении духа. Губернатор написал ему преглупую бумагу, по которой можно было предположить замечание, что Федор Михайлович поступил нечестно. Федор Михайлович очень озлобился и тут же написал бойкий и колкий ответ.

Дома Федору Михайловичу казалось, все делалось ему, наперекор.

Было без пяти минут пять часов. Он думал, что сейчас же подадут обедать, но обед не был еще готов. Федор Михайлович хлопнул дверью и ушел в свою комнату. В дверь постучался кто-то. «Кой черт еще там», – подумал

он и крикнул:

– Кто там еще?

В комнату вошел гимназист пятого класса, пятнадцатилетний мальчик, сын Федора Михайловича.

– Зачем ты?

– Нынче первое число.

– Что? Деньги?

Было заведено, что каждое первое число отец давал сыну жалованья на забавы три рубля. Федор Михайлович нахмурился, достал бумажник, поискал и вынул купон в 21/2 рубля, потом достал штучку с серебром и отсчитал еще пятьдесят копеек. Сын молчал и не брал.

– Папа, пожалуйста, дай мне вперед.

– Что?

– Я не просил бы, да я занял на честное слово, обещал. Я, как честный человек, не могу... мне надо еще три рубля, право, не буду просить... не то что не буду просить, а просто... пожалуйста, папа.

– Тебе сказано...

– Да папа, ведь один раз...

– Ты получаешь жалованья три рубля, и

все мало. Я в твои года не получал и пятидесяти копеек.

– Теперь все товарищи мои больше получают. Петров, Иваницкий пятьдесят рублей получают.

– А я тебе скажу, что, если ты так поведешь себя, ты будешь мошенник. Я сказал.

– Да что же сказали. Вы никогда не войдете в мое положение, я должен буду подлецом быть. Вам хорошо.

– Пошел вон, шалолай. Вон.

Федор Михайлович вскочил и бросился к сыну.

– Вон. Сечь вас надо.

Сын испугался и озлобился, но озлобился больше, чем испугался, и, склонив голову, скорым шагом пошел к двери. Федор Михайлович не хотел бить его, но он был рад своему гневу и долго еще кричал, провожая сына, бранные слова.

Когда пришла горничная и сказала, что готово обедать, Федор Михайлович встал.

– Наконец, – сказал он. – Мне уже и есть не хочется.

И, насупившись, пошел к обеду.

За столом жена заговорила с ним, но он так буркнул сердито короткий ответ, что она замолчала. Сын тоже не подымал глаз от тарелки и молчал. Поели молча и молча встали и разошлись.

После обеда гимназист вернулся в свою комнату, вынул из кармана купон и мелочь и бросил на стол, а потом снял мундир, надел куртку. Сначала гимназист взялся за истрепанную латинскую грамматику, потом запер дверь на крючок, смел рукой со стола в ящик деньги, достал из ящика гильзы, насыпал одну, заткнул ватой и стал курить.

Просидел он над грамматикой и тетрадями часа два, ничего не понимая, потом встал и стал, топая пятками, ходить по комнате и вспоминать все, что было с отцом. Все ругательные слова отца, особенно его злое лицо, вспоминались ему, точно он сейчас слышал и видел его. «Шалопай. Сечь надо». И что больше он вспоминал, то больше злился на отца. Вспомнил он, как отец сказал ему: «Вижу, что из тебя выйдет – мошенник. Так и знай». – «И выйдешь мошенником, если так. Ему хорошо. Он забыл, как был молод. Ну, какое же я сде-

лал преступление? Просто поехал в театр, не было денег, взял у Пети Грушецкого. Что же тут дурного? Другой бы пожалел, расспросил, а этот только ругаться и об себе думать. Вот когда у него чего-нибудь нет – это крик на весь дом, а я мошенник. Нет, хоть он и отец, а не люблю я его. Не знаю, все ли так, но я не люблю».

В дверь постучалась горничная. Она принесла записку.

– Велели ответ непременно.

В записке было написано: «Вот уже третий раз я прошу тебя возвратить взятые тобой у меня шесть рублей, но ты отвиливаешь. Так не поступают честные люди. Прошу немедленно прислать с сим посланным. Мне самому нужна до зарезу. Неужели же ты не можешь достать?»

Твой, смотря по тому, отдашь ты или не отдашь, презирующий или уважающий тебя товарищ

Грушецкий».

«Вот и думай. Экая свинья какая. Не может подождать. Попытаюсь еще».

Митя пошел к матери. Это была последняя

надежда. Мать его была добрая и не умела отказывать, и она, может быть, и помогла бы ему, но нынче она была встревожена болезнью меньшого, двухлетнего Пети. Она рассердилась на Митю за то, что он пришел и зашумел, и сразу отказала ему.

Он что-то проворчал себе под нос и пошел из двери. Ей стало жалко сына, и она воротила его.

– Пстой, Митя, – сказала она. – У меня нет теперь, но завтра я достану.

Но в Мите все еще кипела злоба на отца.

– Зачем мне завтра, когда нужно нынче? Так знайте, что я пойду к товарищу.

Он вышел, хлопнув дверь.

«Больше делать нечего, он научит, где часы заложить», – подумал он, ощупывая часы в кармане.

Митя достал из стола купон и мелочь, надел пальто и пошел к Махину.

Махин был гимназист с усами. Он играл в карты, знал женщин, и у него всегда были деньги. Он жил с теткой. Митя знал, что Махин нехороший малый, но, когда он был с ним, он невольно подчинялся ему. Махин был дома и собирался в театр: в грязной комнате пахло душистым мылом и одеколоном.

– Это, брат, последнее дело, – сказал Махин, когда Митя рассказал ему свое горе, показал купон и пятьдесят копеек и сказал, что ему нужно девять рублей. – Можно и часы заложить, а можно и лучше, – сказал Махин, подмигивая одним глазом.

– Как лучше?

– А очень просто. – Махин взял купон. – Поставить единицу перед 2 р. 50, и будет 12 р. 50.

– Да разве бывают такие?

– А как же, а на тысячерублевых билетах. Я один спустил такой.

– Да не может быть?

– Так что ж, валить? – сказал Махин, взяв перо и расправив купон пальцем левой руки.

– Да ведь это нехорошо.

– И, вздор какой.

«И точно, – подумал Митя, и ему вспомнились опять ругательства отца: – мошенник. Вот и буду мошенник». Он посмотрел в лицо Махину. Махин смотрел на него, спокойно улыбаясь.

– Что же, валить?

– Вали.

Махин старательно вывел единицу.

– Ну, вот теперь пойдём в магазин. Вот тут на углу: фотографические принадлежности. Мне кстати рамка нужна, вот на эту персону.

Он достал фотографическую карточку большеглазой девицы с огромными волосами и великолепным бюстом.

– Какова душка? А?

– Да, да. Как же...

– Очень просто. Пойдем.

Махин оделся, и они вместе вышли.

III

Входной двери фотографического магазина зазвонил колокольчик. Гимназисты вошли, оглядывая пустой магазин с полками, установленными принадлежностями, и с витринами на прилавках. Из задней двери вышла некрасивая с добрым лицом женщина и, став за прилавком, спросила, что нужно.

– Рамочку хорошенькую, мадам.

– На какую цену? – спросила дама, быстро и ловко перебирая руками в митенках, с опухшими сочленениями пальцев, рамки разных фасонов. – Эти на пятьдесят копеек, а эти по дороже. А вот это очень миленький, новый фасон, рубль двадцать.

– Ну, давайте эту. Да нельзя ли уступить? Возьмите рубль.

– У нас не торгуются, – достойно сказала дама.

– Ну, бог с вами, – сказал Махин, кладя на витрину купон.

– Давайте рамочку и сдачу, да поскорее. Нам в театр не опоздать.

– Еще успеете, – сказала дама и стала бли-

зорокими глазами рассматривать купон.

– Мило будет в этой рамочке. А? – сказал Махин, обращаясь к Мите.

– Нет ли у вас других денег? – сказала продавщица.

– То-то и горе, что нету. Мне дал отец, надо же разменять.

– Да неужели нет рубля двадцати?

– Есть пятьдесят копеек. Да что же, вы боитесь, что мы вас обманываем фальшивыми деньгами?

– Нет, я ничего.

– Так давайте назад. Мы разменяем.

– Так сколько вам?

– Да, стало быть, одиннадцать с чем-то.

Продавщица пощелкала на счетах, отперла конторку, достала десять рублей бумажкой и, пошевелив рукой в мелочи, собрала еще шесть двугривенных и два пятака.

– Потрудитесь завернуть, – сказал Махин, неторопливо взяв деньги.

– Сейчас.

Продавщица завернула и завязала бечевкой.

Митя перевел дыхание, только когда коло-

кольчик входной двери зазвенел за ними, и они вышли на улицу.

– Ну вот тебе десять рублей, а эти дай мне. Я тебе отдам.

И Махин ушел в театр, а Митя пошел к Грушецкому и рассчитался с ним.

IV

Через час после ухода гимназистов хозяин магазина пришел домой и стал считать выручку.

– Ах, дура косолапая! Вот дура-то, – кричал он на свою жену, увидав купон и тотчас же заметив подделку. – И зачем брать купоны.

– Да ты сам, Женя, брал при мне, именно двенадцатирублевые, – сказала жена, сконфуженная, огорченная и готовая плакать. – Я и сама не знаю, как они меня обморочили, – говорила она, – гимназисты. Красивый молодой человек, казался такой комильфотный.

– Комильфотная дура, – продолжал браниться муж, считая кассу. – Я беру купон, так знаю и вижу, что на нем написано. А ты, я чай, только рожу гимназистов рассматривала

на старости лет.

Этого не выдержала жена и сама рассердилась.

– Настоящий мужчина! Только других осуждать, а сам проиграешь в карты пятьдесят четыре рубля – это ничего.

– Я – другое дело.

– Не хочу с тобой говорить, – сказала жена и ушла в свою комнату и стала вспоминать, как в ее семье не хотели выдавать ее замуж, считая мужа ее гораздо ниже по положению, и как она одна настояла на этом браке; вспомнила про своего умершего ребенка, равнодушные мужа к этой потере и возненавидела мужа так, что подумала о том, как бы хорошо было, если бы он умер. Но, подумав это, она испугалась своих чувств и поторопилась одеться и уйти. Когда ее муж вернулся в квартиру, жены уже не было. Она, не дожидаясь его, оделась и одна уехала к знакомому учителю французского языка, который звал нынче на вечер.

У учителя французского языка, русского поляка, был парадный чай с сладкими печеньями, а потом сели за несколько столов в винт.

Жена продавца фотографических принадлежностей села с хозяином, офицером и старой, глухой дамой в парике, вдовой содержателя музыкального магазина, большой охотницей и мастерицей играть. Карты шли к жене продавца фотографических принадлежностей. Она два раза назначила шлем. Подле нее стояла тарелочка с виноградом и грушей, и на душе у нее было весело.

– Что же Евгений Михайлович не идет? – спросила хозяйка с другого стола. – Мы его пятым записали.

– Верно, увлекся счетами, – сказала жена Евгенья Михайловича, – нынче расчеты за провизию, за дрова.

И, вспомнив про сцену с мужем, она нахмурилась, и ее руки в митенках задрожали от злобы на него.

– Да вот легок на помине, – сказал хозяин,

обращаясь к входившему Евгению Михайловичу. – Что запоздали?

– Да разные дела, – отвечал Евгений Михайлович веселым голосом, потирая руки. И, к удивлению жены, он подошел к ней и сказал:

– А знаешь, я купон-то спустил.

– Неужели?

– Да, мужику за дрова.

И Евгений Михайлович рассказал всем с большим негодованием, – в рассказ его включала подробности его жена, – как надули его жену бессовестные гимназисты.

– Ну-с, теперь за дело, – сказал он, усаживаясь за стол, когда пришел его черед, и тасуя карты.

Действительно, Евгений Михайлович спустил купон за дрова крестьянину Ивану Миронову.

Иван Миронов торговал тем, что покупал на дровяных складах одну сажень дров, развозил ее по городу и выкладывал так, что из сажени выходило пять четверок, которые он продавал за ту же цену, какую стоила четверть на дровяном дворе. В этот несчастный для Ивана Миронова день он рано утром вывез осьмушку и, скоро продав, наложил другую еще осьмушку и надеялся продать, но провозил до вечера, добиваясь покупателя, но никто не купил. Он все попадал на опытных городских жителей, которые знали обычные проделки мужиков, продающих дрова, и не верили тому, что он привез, как он уверял, дрова из деревни. Сам он проголодался, иззяб в своем вытертом полушубке и рваном армяке; мороз к вечеру дошел до двадцати градусов; лошаденка, которую он не жалел, потому что собирался продать ее драчам, совсем стала. Так что Иван Миронов готов был даже с

убытком отдать дрова, когда ему встретился ходивший за табаком в магазин и возвращавшийся домой Евгений Михайлович.

– Возьмите, барин, задешево отдам. Лошаденка стала совсем.

– Да ты откуда?

– Мы из деревни. Свои дрова, хорошие, сухие.

– Знаем мы вас. Ну, что возьмешь?

Иван Миронов запросил, стал сбавлять и, наконец, отдал за свою цену.

– Только для вас, барин, что близко везти, – сказал он.

Евгений Михайлович не очень торговался, радуясь мысли, что он спустит купон. Кое-как, сам подтягивая за оглобли, Иван Миронов ввез дрова во двор и сам разгрузил их в сарай. Дворника не было. Иван Миронов сначала замялся брать купон, но Евгений Михайлович так убедил его и казался таким важным баринком, что он согласился взять.

Войдя с заднего крыльца в девичью, Иван Миронов перекрестился, оттаял сосульки с бороды и, заворотив полу кафтана, достал кожаный кошелек и из него восемь рублей

пятьдесят копеек и отдал сдачу, а купон, завернув в бумажку, положил в кошелек.

Поблагодарив, как водится, барина, Иван Миронов, разгоняя уж не кнутом, но кнутовищем насилу передвигавшую ноги, обындевешую, обреченную на смерть клячонку, по-рожном погнал к трактиру.

В трактире Иван Миронов спросил себе на восемь копеек вина и чая и, отогревшись и даже распотевши, в самом веселом расположении духа беседовал с сидевшим у его же стола дворником. Он разговорился с ним, рассказал ему все свои обстоятельства. Рассказал, что он из деревни Васильевского, в двенадцати верстах от города, что он отделенный от отца и братьев и живет теперь с женой и двумя ребятами, из которых старший только ходил в училище, а еще не помогал ничего. Рассказал, что он здесь стоит на фатере и завтра пойдет на конную продаст своего одра и присмотрит, а если и придется – купит лошадку. Рассказал, что у него набралось теперь без рубля четвертная и что у него половина денег в купоне. Он достал купон и показал дворнику. Дворник был безграмотный, по

сказал, что он менивал для жильцов такие деньги, что деньги хорошие, но бывают поддельные, и потому советовал для верности отдать здесь у стойки. Иван Миронов отдал половому и велел принести сдачи, но половой не принес сдачу, а пришел лысый, с глянце-витым лицом приказчик с купоном в пухлой руке.

– Деньги ваши не годятся, – сказал он, показывая купон, но не отдавая его.

– Деньги хорошие, мне барин дал.

– То-то что не хорошие, а поддельные.

– А поддельные, так давай их сюда.

– Нет, брат, вашего брата учить надо. Ты с мошенниками подделал.

– Давай деньги, какую ты имеешь полную праву?

– Сидор! кликни-ка полицейского, – обратился буфетчик к половому.

Иван Миронов был выпивши. А выпивши он был неспокоен. Он схватил приказчика за ворот и закричал:

– Давай назад, я пойду к барину. Я знаю, где он.

Приказчик рванулся от Ивана Миронова, и

рубаша его затрещала.

– А, ты так. Держи его.

Половой схватил Ивана Миронова, и тут же явился городской. Выслушав, как начальник, в чем дело, он тотчас же решил его:

– В участок.

Купон городской положил себе в портмоне и вместе с лошастью отвел Ивана Миронова в участок.

VII

Иван Миронов переночевал в участке с пьяными и ворами. Уже около полудня его потребовали к околоточному. Околоточный допросил его и послал с городovým к продавцу фотографических принадлежностей. Иван Миронов запомнил улицу и дом.

Когда городской вызвал барина и представил ему купон и Ивана Миронова, утверждавшего, что этот самый барин дал ему купон, Евгений Михайлович сделал удивленное и потом строгое лицо.

– Что ты, видно, с ума спятил. В первый раз его вижу.

– Барин, грех, умирать будем, – говорил

Иван Миронов.

– Что с ним сделалось? Да ты, верно, заспал. Ты кому-нибудь другому продал, – говорил Евгений Михайлович. – Впрочем, постойте, я пойду у жены спрошу, брала ли она вчера дрова.

Евгений Михайлович вышел и тотчас же позвал дворника, красивого, необыкновенно сильного и ловкого щеголя, веселого малого Василья, и сказал ему, что если у него будут спрашивать, где взяты последние дрова, чтобы он говорил, что в складе, а что у мужиков дров не покупали.

– А то тут мужик показывает, что я ему фальшивый купон дал. Мужик бестолковый, бог знает что говорит, а ты человек с понятием. Так и говори, что дрова мы покупаем только в складе. А это я тебе давно хотел дать на куртку, – прибавил Евгений Михайлович и дал дворнику пять рублей.

Василий взял деньги, блеснул глазами на бумажку, потом на лицо Евгения Михайловича, тряхнул волосами и слегка улыбнулся.

– Известно, народ бестолковый. Необразованность. Не извольте беспокоиться. Я уж

знаю, как сказать.

Сколько и как слезно ни умолял Иван Миронов Евгения Михайловича признать свой купон и дворника подтвердить его слова, и Евгений Михайлович и дворник стояли на своем: никогда не брали дров с возов. И городской свел назад в участок Ивана Миронова, обвиняемого в подделке купона.

Только по совету сидевшего с ним пьяного писаря, отдав пятерку околоточному, Иван Миронов выбрался из-под караула без купона и с семью рублями вместо двадцати пяти, которые у него были вчера. Иван Миронов пропил из этих семи рублей три и с разбитым лицом и мертвецки пьяный приехал к жене.

Жена была беременная на сносях и больная. Она начала ругать мужа, он оттолкнул ее, она стала бить его. Он, не отвечая, лег брюхом на нары и громко заплакал.

Только на другое утро жена поняла, в чем было дело, и, поверив мужу, долго кляла разбойника барина, обманувшего ее Ивана. И Иван, протрезвившись, вспомнил, что ему советовал мастеровой, с которым он пил вчера, и решил идти к аблакату жаловаться.

VIII

Адвокат взялся за дело не столько из-за денег, которые он мог получить, сколько из-за того, что поверил Ивану и был возмущен тем, как бессовестно обманули мужика.

На суд явились обе стороны, и дворник Василий был свидетелем. На суде повторилось то же. Иван Миронов поминал про бога, про то, что умирать будем. Евгений Михайлович, хотя и мучился сознанием гадости и опасности того, что он делал, не мог уже теперь изменить показания и продолжал с внешне спокойным видом все отрицать.

Дворник Василий получил еще десять рублей и с улыбкой спокойно утверждал, что видом не видал Ивана Миронова. И когда его привели к присяге, хотя и робел внутренне, наружно спокойно повторил за вызванным старичком священником слова присяги, на кресте и святом Евангелии клянясь в том, что будет говорить всю правду.

Дело кончилось тем, что судья отказал Ивану Миронову в иске, положил взыскать с него пять рублей судебных издержек, кото-

рые Евгений Михайлович великодушно простил ему. Отпуская Ивана Миронова, судья прочел ему наставление о том, чтобы он вперед был осторожнее в взведении обвинений на почтенных людей и был бы благодарен за то, что ему простили судебные издержки и не преследуют его за клевету, за которую он отсидел бы месяца три в тюрьме.

– Благодарим покорно, – сказал Иван Миронов и, покачивая головой и вздыхая, вышел из камеры.

Все это, казалось, кончилось хорошо для Евгения Михайловича и дворника Василья. Но это только казалось так. Случилось то, чего никто не видел, но что было важнее всего того, что люди видели.

Василий уже третий год ушел из деревни и жил в городе. С каждым годом он подавал отцу все меньше и меньше и не выписал к себе жену, не нуждаясь в ней. У него здесь, в городе, жен, и не таких, как его нехалява, было сколько хочешь. С каждым годом Василий все больше и больше забывал деревенский закон и осваивался с городскими порядками. Там все было грубо, серо, бедно, неурядливо, здесь

все было тонко, хорошо, чисто, богато, все в порядке. И он все больше и больше уверялся, что деревенские живут без понятия, как звери лесные, здесь же – настоящие люди. Читал он книжки хороших сочинителей, романы, ходил на представления в народный дом. В деревне и во сне того не видишь. В деревне старики говорят: живи в законе с женой, трудись, лишнее не ешь, не щеголяй, а здесь люди умные, ученые – значит, знают настоящие законы, – живут в свое удовольствие. И все хорошо. До дела с купоном Василий все не верил, что у господ нет никакого закона насчет того, как жить. Ему все казалось, что он не знает их закона, а закон есть. Но последнее дело с купоном и, главное, его фальшивая присяга, от которой, несмотря на его страх, ничего худого не вышло, а, напротив, вышло еще десять рублей, он совсем уверился, что нет никаких законов и надо жить в свое удовольствие. Так он и жил, так и продолжал жить. Сначала он пользовался только на покупках жильцов, но этого было мало для всех его расходов, и он, где мог, стал таскать деньги и ценные вещи из квартир жильцов и

украл кошелек Евгения Михайловича. Евгений Михайлович уличил его, но не стал подавать и суд, а расчел его.

Домой Василию идти не хотелось, и он остался жить в Москве с своей любезной, отыскивая место. Место нашлось дешевое клавочнику в дворники. Василий поступил, но на другой же месяц попался в краже мешков. Хозяин не стал жаловаться, а побил Василья и прогнал. После этого случая места уже не находилось, деньги проживались, потом стала проживаться одежда, и кончилось тем, что остался один рваный пиджак, штаны и опорки. Любезная бросила его. Но Василий не утратил свое бодрое, веселое расположение и, дождавшись весны, пошел пеший домой.

IX

Петр Николаевич Свентицкий, маленький, коренастый человек в черных очках (у него болели глаза, ему угрожала полная слепота), встал, по обыкновению, до света и, выпив стакан чаю, надел крытый, отороченный мерлушкой полушубочек и пошел по хозяйству.

Петр Николаевич был таможенным чиновником и нажил там восемнадцать тысяч рублей. Лет двенадцать тому назад он вышел в отставку не совсем по своей воле и купил именьеце промотавшегося юноши-помещика. Петр Николаич был на службе еще женат. Жена его была бедная сирота старого дворянского рода, крупная, полная, красивая женщина, не давшая ему детей. Петр Николаич во всех делах был человек основательный и настойчивый. Ничего не зная о хозяйстве (он был сын польского шляхтича), он так хорошо занялся хозяйством, что разоренное имение в триста десятин через десять лет стало образцовым. Все постройки у него, от дома до амбара и навеса над пожарной трубой, были проч-

ные, основательные, крытые железом и во время крашенные. В инструментном сарае стояли порядком телеги, сохи, плуги, бороны. Сбруя была вымазана. Лошади были не крупные, почти всё своего завода – саврасой масти, сытенькие, крепенькие, одна в одну. Молотилка работала в крытой риге, корм убирался в особенном сарае, навозная жижа стекала в мощеную яму. Коровы были тоже своего завода, не крупные, но молочные. Свиньи были аглицкие. Был птичник и особенно ноской породы куры. Сад фруктовый был обмазан и посажен. Везде все было хозяйственно, прочно, чисто, исправно. Петр Николаич радовался на свое хозяйство и гордился тем, что всего этого он достигал не притеснением крестьян, а, напротив, строгой справедливостью к ним. Он даже среди дворян держался среднего, скорее либерального, чем консервативного, взгляда и всегда перед крепостниками защищал народ. Будь с ними хорош, и они будут хороши. Правда, он не спускал промахов и ошибок рабочих, иногда и сам поталкивал их, требовал работы, но зато помещения, харчи были самые хорошие, жалованье всегда

было выдано вовремя, и в праздники он подносил водку.

Ступая осторожно по талому снегу, – это было в феврале, – Петр Николаич направился мимо рабочей конюшней к избе, где жили рабочие. Было еще темно; еще темнее от тумана, но в окнах рабочей избы был виден свет. Рабочие вставали. Он намеревался поторопить их: по наряду им надо было на шестерне ехать за последними дровами в рощу.

«Это что?» – подумал он, увидав отворенную дверь в конюшню.

– Эй, кто тут?

Никто не отозвался. Петр Николаич вошел в конюшню.

– Эй, кто тут?

Никто не отзывался. Было темно, под ногами мягко, и пахло навозом. Направо от двери в стойле стояла пара молодых саврасых. Петр Николаич протянул руку – пусто. Он тронул ногой. Не легла ли? Нога ничего не встретила. «Куда же они ее вывели?» – подумал он. Запрягать – не запрягали, сани еще все наружи. Петр Николаич вышел из двери и крикнул громко:

– Эй, Степан.

Степан был старший рабочий. Он как раз выходил из рабочей.

– Яу! – откликнулся весело Степан. – Это вы, Петр Николаич? Сейчас ребята идут.

– Что у вас конюшня отперта?

– Конюшня? Не могу знать. Эй, Прошка, дай фонарь.

Прошка прибежал с фонарем. Вошли в конюшню. Степан сразу понял.

– Это воры были, Петр Николаич. Замок сбит.

– Врешь?

– Свели, разбойники. Машки нет, Ястреба нет. Ястреб здесь. Пестрого нет. Красавчика нет.

Трех лошадей не было. Петр Николаич ничего не сказал.

Нахмурился и тяжело дышал.

– Ох, попался бы мне. Кто караулил?

– Петька. Петька проспал.

Петр Николаич подал в полицию, к станова-
вому, земскому начальнику, разослал своих.
Лошадей не нашли.

– Поганый народ! – говорил Петр Никола-

ич. — Что сделали. Я ли им добро не делал. По-
годи же ты. Разбойники, все разбойники. Те-
перь я не так с вами поведу дело.

Х

А лошади, тройка саврасых, были уже на
местах. Одну, Машку, продали цыганам за
восемнадцать рублей, другого, Пестрого, про-
меняли мужику за сорок верст, Красавчика
загнали и зарезали. Продали шкуру за три
рубля. Всему делу этому был руководчиком
Иван Миронов. Он служил у Петра Николаи-
ча и знал порядки Петра Николаича и решил
вернуть свои денежки. И устроил дело.

После своего несчастья с фальшивым купо-
ном Иван Миронов долго пил и пропил бы
все, если бы жена не спрятала от него хомуты,
одежу и все, что можно было пропить. Во вре-
мя пьянства своего Иван Миронов не переста-
вая думал не только о своем обидчике, но о
всех господах и господишках, которые только
тем живут, что обируют нашего брата. Пил
один раз Иван Миронов с мужиками из-под
Подольска. И мужики, дорогой, пьяные, рас-
сказали ему, как они свели лошадей у мужи-

ка. Иван Миронов стал ругать конокрадов за то, что они обидели мужика. «Грех это, – говорил он, – у мужика лошадка все равно брат, а ты его обездолишь. Коли уводить, так у господ. Эти собаки того стоят». Дальше, больше, разговорились, и подольские мужики сказали, что у господ свести лошадей хитро. Надо знать ходы, а без своего человека нельзя. Тогда Иван Миронов вспомнил про Свентицкого, у которого он жил в работниках, вспомнил, что Свентицкий недодал при расчете полтора рубля за сломанный шкворень, вспомнил и про саврасеньких лошадок, на которых он работал.

Иван Миронов сходил к Свентицкому как будто наниматься, а только затем, чтобы высмотреть и узнать все. И узнав все, что карульщика нет, что лошади в денниках, в конюшне, подвел воров и сделал все дело.

Поделив с подольскими мужиками выручку, Иван Миронов с пятью рублями приехал домой. Дома делать нечего было: лошади не было. И с той поры Иван Миронов стал водиться с конокрадами и цыганами.

XI

Петр Николаич Свентицкий из всех сил старался найти вора. Без своего не могло быть сделано дело. И потому он стал подозревать своих и, разузнав у рабочих, кто не ночевал в эту ночь дома, узнал, что не ночевал Прошка Николаев – молодой малый, только что пришедший из военной службы солдат, красивый, ловкий малый, которого Петр Николаич брал для выездов вместо кучера. Становой был приятель Петра Николаича, он знал и исправника, и предводителя, и земского начальника, и следователя. Все эти лица бывали у него в именины и знали его вкусные наливки и соленые грибки – белые, опенки и грузди. Все жалели его и старались помочь ему.

– Вот, а вы защищаете мужиков, – говорил становой. – Правду я говорил, что хуже зверей. Без кнута и палки с ними ничего не поделаешь. Так вы говорите, Прошка, тот, что с вами кучером ездит?

– Да, он.

– Давайте его сюда.

Прошку призвали и стали допрашивать:

– Где был?

Прошка тряхнул волосами, блеснул глазами.

– Дома.

– Как же дома, все рабочие показывают, что тебя не было.

– Воля ваша.

– Да не в моей воле дело. А где ты был?

– Дома.

– Ну, хорошо же. Сотский, сведи его в стан.

– Воля ваша.

Так и не сказал Прошка, где был, а не сказал потому, что ночь он был у своего дружка, у Параша, и обещал не выдавать ее, и не выдал. Улик не было. И Прошку выпустили. Но Петр Николанч был уверен, что это все дело Прокофья, и возненавидел его. Один раз Петр Николаич, взяв Прокофья за кучера, выслал его на подставу. Прошка, как и всегда делал, взял на постоялом дворе две меры овса. Полторы скормил, а на полмеры выпил. Петр Николаич узнал это и подал мировому судье. Мировой судья приговорил Прошку на три месяца в острог. Прокофий был самолюбив.

Он считал себя выше людей и гордился собой. Острог унизил его. Ему нельзя было гордиться перед народом, и он сразу упал духом.

Из острога Прошка вернулся домой не столько озлобленный против Петра Николаича, сколько против всего мира.

Прокофий, как говорили все, после острога опустил плечи, стал лениться работать, стал пить и скоро попался в воровстве одежды у мещанки и попал опять в острог.

Петр же Николаич узнал об лошадях только то, что была найдена шкура с саврасого мерина, которую Петр Николаич признал за шкуру Красавчика. И эта безнаказанность воров еще больше раздражила Петра Николаича. Он не мог теперь без злобы видеть мужиков и говорить про них и где мог старался пригнать их.

XII

Несмотря на то, что, спустив купон, Евгений Михайлович перестал думать о нем, жена его Марья Васильевна не могла простить ни себе, что поддавалась обману, ни мужу за жестокие слова, которые он сказал ей, ни, главное, тем двум мальчишкам-негодьям, которые так ловко обманули ее.

С того самого дня, как ее обманули, она приглядывалась ко всем гимназистам. Раз она встретила Махина, но не узнала его, потому что он, увидав ее, сделал такую рожу, которая совсем изменила его лицо. Но Митю Смоковникова она, столкнувшись с ним нос с носом на тротуаре недели две после события, тотчас же узнала. Она дала ему пройти и, повернувшись, следом пошла за ним. Дойдя до его квартиры и узнав, чей он сын, она на другой день пошла в гимназию и в передней встретила законоучителя Михаила Введенского. Он спросил, что ей нужно. Она сказала, что желает видеть директора.

— Директора нет, он нездоров; может быть, я могу исполнить или передать ему?

Марья Васильевна решила все рассказать законоучителю.

Законоучитель Введенский был вдовец, академик и человек очень самолюбивый. Еще в прошлом году он встретился в одном обществе с отцом Смоковникова и, столкнувшись с ним в разговоре о вере, в котором Смоковников разбил его по всем пунктам и поднял на смех, решил обратить особенное внимание на сына и, найдя в нем такое же равнодушие к закону божию, как и в неверующем отце, стал преследовать его и даже провалил его на экзамене.

Узнав от Марьи Васильевны про поступок молодого Смоковникова, Введенский не мог не почувствовать удовольствия, найдя в этом случае подтверждение своих предположений о безнравственности людей, лишенных руководства церкви, и решил воспользоваться этим случаем, как он старался себя уверить, для показания той опасности, которая угрожает всем отступающим от церкви, – в глубине же души для того, чтобы отомстить гордому и самоуверенному атеисту.

– Да, очень грустно, очень грустно, – гово-

рил отец Михаил Введенский, поглаживая рукой гладкие бока наперсного креста. – Я очень рад, что вы передали дело мне; я, как служитель церкви, постараюсь не оставить молодого человека без наставлений, но и постараюсь как можно более смягчить назида-ние.

«Да, я сделаю так, как подобает моему званию», – говорил себе отец Михаил, думая, что он, совершенно забыв недоброжелательство к себе отца, имеет в виду только благо и спасение юноши.

На следующий день на уроке закона божия отец Михаил рассказал ученикам весь эпизод фальшивого купона и сказал, что это сделал гимназист.

– Поступок дурной, постыдный, – сказал он, – но запирательство еще хуже. Если, чему я не верю, это сделал один из вас, то лучше ему покаяться, чем скрываться.

Говоря это, отец Михаил пристально смотрел на Митю Смоковникова. Гимназисты, следя за его взглядом, тоже оглядывались на Смоковникова. Митя краснел, потел, наконец расплакался и выбежал из класса.

Мать Мити, узнав про это, выпытала всю правду у сына и побежала в магазин фотографических принадлежностей. Она заплатила двенадцать рублей пятьдесят копеек хозяйке и уговорила ее скрыть имя гимназиста. Сыну же велела все отрицать и ни в коем случае не признаваться отцу.

И действительно, когда Федор Михайлович узнал о том, что было в гимназии, и призванный им сын отперся от всего, он поехал к директору и, рассказав все дело, сказал, что поступок законоучителя в высшей степени предосудителен и он не оставит этого так. Директор пригласил священника, и между им и Федором Михайловичем произошло горячее объяснение.

– Глупая женщина вклепалась в моего сына, потом сама отреклась от своего показания, а вы не нашли ничего лучшего, как оклеветать честного, правдивого мальчика.

– Я не клеветал и не позволю вам говорить так со мной. Вы забываете мой сан.

– Наплевать мне на ваш сан.

– Ваши превратные понятия, – дрожа подбородком, так что тряслась его редкая борода-

ка, заговорил законоучитель, – известны всему городу.

– Господа, батюшка, – старался успокоить спорящих директор. Но успокоить их нельзя было.

– Я по долгу своего сана должен заботиться о религиозно-нравственном воспитании.

– Полноте притворяться. Разве я не знаю, что вы ни в чох, ни в смерть не верите?

– Я считаю недостойным себя говорить с таким господином, как вы, – проговорил отец Михаил, оскорбленный последними словами Смоковникова в особенности потому, что он знал, что они справедливы. Он прошел полный курс духовной академии и потому давно уже не верил в то, что исповедовал и проповедовал, а верил только в то, что все люди должны принуждать себя верить в то, во что он принуждал себя верить.

Смоковников не столько был возмущен поступком законоучителя, сколько находил, что это хорошая иллюстрация того клерикального влияния, которое начинает проявляться у нас, и всем рассказывал про этот случай.

Отец же Введенский, видя проявления утвердившегося нигилизма и атеизма не только в молодом, но старом поколении, все больше и больше убеждался в необходимости борьбы с ним. Чем больше он осуждал неверие Смоковникова и ему подобных, тем больше он убеждался в твердости и незыблемости своей веры и тем меньше чувствовал потребности проверять ее или согласовать ее с своей жизнью. Его вера, признаваемая всем окружающим его миром, была для него главным орудием борьбы против ее отрицателей.

Эти мысли, вызванные в нем столкновением с Смоковниковым, вместе с неприятностями по гимназии, происшедшими от этого столкновения, — именно, выговор, замечание, полученное от начальства, — заставили его принять давно уже, со смерти жены, манившее его к себе решение: принять монашество и избрать ту самую карьеру, по которой пошли некоторые из его товарищей по академии, из которых один был уже архиереем, а другой архимандритом на вакансии епископа.

К концу академического года Введенский

покинул гимназию, постригся в монахи под именем Мисаила и очень скоро получил место ректора семинарии в поволжском городе.

XIII

Между тем Василий-дворник шел большой дорогой на юг.

День он шел, а на ночь десятский отводил его на очередную квартиру. Хлеб ему везде давали, а иногда и сажали за стол ужинать. В одной деревне Орловской губернии, где он ночевал, ему сказали, что купец, снявший у помещика сад, ищет молодцов-караульных. Василью надоело нищенствовать, а домой идти не хотелось, и он пошел к купцу-садовнику и нанялся караульщиком за пять рублей в месяц.

Жизнь в шалаше, особенно после того, как стала поспевать грушовка и с барского гумна караульщики принесли большущие вязанки свежей, из-под молотилки, соломы, была очень приятна Василью. Лежи целый день на свежей, пахучей соломе подле кучек, еще более, чем солома, пахучих, падали ярового и зимового яблока, поглядывай, не забрались

ли где ребята за яблоками, посвистывай и распевай песни. А песни петь Василий был мастер. И голос у него был хороший. Придут с деревни бабы, девки за яблоками. Пошутит с ними Василий, отдаст, как какая приглянется, побольше или поменьше яблок за яйца или копеечки – и опять лежи; только сходи позавтракать, пообедать, поужинать.

Рубаха на Василье была одна розовая ситцевая, и та в дырах, на ногах ничего не было, но тело было сильное, здоровое, и, когда котелок с кашей снимали с огня, Василий съедал за троих, так что старик караульщик только дивился на него. По ночам Василий не спал и либо свистал, либо покрикивал и, как кошка, далеко в темноте видел. Раз забрались с деревни большие ребята трясти яблоки. Василий подкрался и набросился на них; хотели они отбиться, да он расшвырял их всех, а одного привел в шалаш и сдал хозяину.

Первый шалаш Василья был в дальнем саду, а второй шалаш, когда грушовка сошла, был в сорока шагах от барского дома. И в этом шалаше Василью еще веселее было. Целый день Василий видел, как господа и барышни

играли, ездили кататься, гуляли, а по вечерам и ночам играли на фортепьяно, на скрипке, пели, танцевали. Видел он, как барышни с студентами сидели на окнах и ласкались и потом одни шли гулять в темные липовые аллеи, куда только полосами и пятнами проходил лунный свет. Видел он, как бегали слуги с едой и питьем и как повара, прачки, приказчики, садовники, кучера – все работали только затем, чтобы кормить, поить, веселить господ. Заходили иногда молодые господа и к нему в шалаш, и он отбирал им и подавал лучшие, наливные и краснобокие яблоки, и барышни тут же, хрустя зубами, кусали их и хвалили и что-то говорили – Василий понимал, что об нем, – по-французски и заставляли его петь.

И Василий любовался на эту жизнь, вспоминая свою московскую жизнь, и мысль о том, что все дело в деньгах, все больше и больше западала ему в голову.

И Василий стал все больше и больше думать о том, как бы сделать, чтобы сразу захватить побольше денег. Стал он вспоминать, как он прежде пользовался, и решил, что не

так надо делать, что надо не так, как прежде, ухватить где плохо лежит, а вперед обдумать, вызнать и сделать чисто, чтобы никаких концов не оставить. К рождеству богородицы сняли последнюю антоновку. Хозяин попользовался хорошо и всех караульщиков и Василья расчел и отблагодарил.

Василий оделся – молодой барин подарил ему куртку и шляпу – и не пошел домой, очень тошно ему было думать о мужицкой, грубой жизни, – а вернулся назад в город с пьющими солдатиками, которые вместе с ним караулили сад. В городе он решил ночью взломать и ограбить ту лавку, у хозяина которой он жил и который прибил его и прогнал без расчета. Он знал все ходы и где были деньги, солдатика приставил караулить, а сам взломал окно со двора, пролез и выбрал все деньги. Дело было сделано искусно, и следов никаких не нашли. Денег вынул триста семьдесят рублей. Сто рублей Василий дал товарищу, а с остальными уехал в другой город и там кутил с товарищами и товарками.

XIV

Между тем Иван Миронов стал ловким, смелым и успешным конокрадом. Афия, его жена, прежде ругавшая его за плохие дела, как она говорила, теперь была довольна и гордилась мужем, тем, что у него тулупкрытый и у ней самой полушалок и новая шуба.

В деревне и в округе все знали, что ни одна кража лошадей не обходилась без него, но доказать на него боялись, и, когда и бывало на него подозрение, он выходил чист и прав. Последняя кража его была из ночного в Колотовке. Когда мог, Иван Миронов разбирал, у кого красть, и больше любил брать у помещиков и купцов. Но и у помещиков и купцов было труднее. И потому, когда не подходили помещичьи и купеческие, он брал и у крестьян. Так он и захватил в Колотовке из ночного каких попало лошадей. Сделал дело не он сам, но подговоренный им ловкий малый Герасим. Мужики хватились лошадей только на заре и бросились искать по дорогам. Лошади же стояли в овраге, в казенном лесу. Иван

Миронов намеревался продержаться их тут до другой ночи, а ночью махнуть за сорок верст к знакомому дворнику. Иван Миронов проведать Герасима в лесу, принес ему пирога и водки и пошел домой лесной тропинкой, где надеялся никого не встретить. На беду его он столкнулся с сторожем-солдатом.

– Али по грибы ходил? – сказал солдат.

– Да нет ничего нынче, – отвечал Иван Миронов, показывая на лукошко, которое он взял на всякий случай.

– Да, нынче не грибное лето, – сказал солдат, – нешто постом пойдут, – и прошел мимо.

Солдат понял, что тут что-то неладно. Незачем было Ивану Миронову ходить рано утром по казенному лесу. Солдат вернулся и стал шарить по лесу. Около оврага он услышал лошадиное фырканье и пошел потихоньку к тому месту, откуда слышал. В овраге было притоптано, и был лошадиный помет. Дальше сидел Герасим и ел что-то, а две лошади стояли привязанные у дерева.

Солдат побежал в деревню, взял старосту, сотского и двух понятых. Они с трех сторон подошли к тому месту, где был Герасим, и за-

хватили его. Гераська не стал запираяться и тотчас же спяна во всем сознался. Рассказал, как его напоил и подговорил Иван Миронов и как обещался нынче прийти за лошадьми в лес. Мужики оставили лошадей и Герасима в лесу, а сами сделали засаду, выжидая Ивана Миронова. Когда смерклось, послышался свист. Герасим откликнулся. Только Иван Миронов стал спускаться с горы, на него набросились и повели в деревню. Наутро перед Старостиной избой собралась толпа.

Ивана Миронова вывели и стали допрашивать. Степан Пелагеюшкин, высокий, сутуловатый, длиннорукий мужик, с орлиным носом и мрачным выражением лица, первый стал допрашивать. Степан был мужик одинокий, отбывший воинскую повинность. Только что отошел от отца и стал справляться, как у него увели лошадь. Проработав год в шахтах, Степан опять справил двух лошадей. Обои увели.

– Говори, где мои кони, – мрачно глядя то в землю, то в лицо Ивана, заговорил, побледнев от злобы, Степан.

Иван Миронов отперся. Тогда Степан уда-

рил его в лицо и разбил нос, из которого потекла кровь.

– Говори, убью!

Иван Миронов молчал, сгибая голову. Степан ударил своей длинной рукой раз, другой. Иван все молчал, только откидывал то туда, то сюда голову.

– Все бей! – закричал староста.

И все стали бить. Иван Миронов молча упал и закричал:

– Варвары, черти, бейте насмерть. Не боюсь вас.

Тогда Степан схватил камень из заготовленной сажени и разбил Ивану Миронову голову.

Убийц Ивана Миронова судили. В числе этих убийц был Степан Пелагеюшкин. Его обвинили строже других, потому что все показали, что он камнем разбил голову Ивана Миронова. Степан на суде ничего не таил, объяснил, что, когда у него увели последнюю пару лошадей, он заявил в стану, и следы по цыганам найти можно было, да становой его и на глаза не принял и не искал вовсе.

– Что ж нам с таким делать? Разорил нас.

– Почему ж другие не били, а вы? – сказал обвинитель.

– Неправда, все били, мир порешил убить. А я только прикончил. Что ж понапрасну мучить.

Судей поразило в Степане выражение совершенного спокойствия, с которым он рассказывал про свой поступок и про то, как били Ивана Миронова и как он прикончил его.

Степан действительно не видел ничего страшного в этом убийстве. Ему на службе пришлось расстреливать солдата, и, как тогда, так и при убийстве Ивана Миронова, он

не видал ничего страшного. Убили так убили. Нынче его, завтра менн.

Степана приговорили легко, к одному году тюрьмы. Одежу мужицкую с него сняли, положили под номером в цейхгауз, а на него надели арестантский халат и коты.

Степан никогда не имел уважения к начальству, но теперь он вполне убедился, что всё начальство, все господа, все, кроме царя, который один жалел народ и был справедлив, все были разбойники, сосущие кровь из народа. Рассказы ссыльных и каторжных, с которыми он сошелся в тюрьме, подтверждали такой взгляд. Один ссылался в каторгу за то, что обличал начальство в воровстве, другой – за то, что ударил начальника, когда стал занаясно описывать крестьянское имущество, третий – за то, что подделал ассигнации. Господа, купцы, что ни делали, все им сходило с рук, а мужика-бедняка за все про все посылали в остроги вшей кормить.

В остроге посещала его жена. Без него ей и так плохо было, а тут еще сторела и совсем разорилась, стала с детьми побираться. Бедствия жены еще больше озлобили Степана.

Он и в остроге был зол со всеми и раз чуть не зарубил топором кашевара, за что ему был прибавлен год. В этот год он узнал, что жена его померла и что дома его нет больше...

Когда Степану вышел срок, его позвали в цейхгауз, достали с полочки его одежду, в которой он пришел, и дали ему.

– Куда же я пойду теперь? – сказал он, одеваясь, каптенармусу.

– Известно, домой.

– Дома нет. Должно, на дорогу идти надо. Людей грабить.

– А будешь грабить, опять к нам попадешь.

– Ну, это как придется.

И Степан ушел. Направился он все-таки к дому. Больше идти некуда было.

Не доходя до дома, зашел он ночевать в знакомый постоялый двор с кабаком.

Двор держал толстый владимирский мещанин. Он знал Степана. И знал, что попал он в острог по несчастью. И оставил Степана у себя ночевать.

Мещанин этот богатый отбил у соседнего мужика жену и жил с ней, как с работницей и женой.

Степан знал все это дело – как обидел мещанин мужика, как эта скверная бабенка ушла от мужа и теперь разъелась и потная сидела за чаем и из милости угостила чаем и Степана. Проезжих никого не было. Степана оставили ночевать на кухне. Матрена убрала все и ушла в горницу. Степан лег на печке, но спать не мог и все трещал по лучинам, которые сохли на печке. Но выходило у него из головы толстое брюхо мещанина, торчавшее из-под пояса ситцевой мытой-перемытой, слинявшей рубахи. Все ему в голову приходило ножом полоснуть это брюхо, сальник выпустить. И бабенке тоже. То он говорил себе: «Ну, черт с ними, уйду завтра», то вспоминал Ивана Миронова и опять думал о брюхе мещанина и белой, потной глотке Матрены. Уж убить, так обоих. Пропел второй петух. Делать, так теперь, а то рассветет. Нож он приметил с вечера и топор. Он сполз с печи, взял топор в нож и вышел из кухни. Как раз он вышел, и за дверью щелкнула щеколда. Мещанин вышел в двери. Он сделал не так, как хотел. Ножом не пришлось, а он взмахнул топором и рассек голову. Мещанин повалился на

притолку и наземь.

Степан вошел в горницу. Матрена вскочила и в одной рубахе стояла у кровати. Степан тем же топором убил и ее.

Потом зажег свечу, вынул деньги из конторки и ушел.

XVI

В уездном городе в отдалении от других Встроенный жил в своем доме старик, бывший чиновник, пьяница, с двумя дочерьми и зятем. Замужняя дочь тоже пила и вела дурную жизнь, старшая же, вдова Мария Семеновна, сморщенная, худая, пятидесятилетняя женщина, одна только содержала всех: у ней была пенсия в двести пятьдесят рублей. На эти деньги кормилась вся семья. Работала же в доме только одна Мария Семеновна. Она ходила за слабым, пьяным стариком отцом и за ребенком сестры, и готовила и стирала. И, как это всегда бывает, на нее же наваливали все дела, какие нужны были, и ее же все трое и ругали и даже бил зять в пьяном виде. Она все переносила молча и с кротостью, и, тоже как всегда бывает, чем больше у ней было де-

ла, тем больше она успевала делать. Она и бедным помогала, отрезывая от себя, отдавая свои одежды, и помогала ходить за больными.

Работал раз у Марии Семеновны хромой, безногий портной деревенский. Перешивал он поддевку старику и покрывал сукном полушубок для Марии Семеновны – зимой на базар ходить.

Хромой портной был человек умный и наблюдательный, по своей должности много видавший разных людей и, вследствие своей хромоты, всегда сидевший и потому расположенный думать. Прожив у Марии Семеновны неделю, не мог надивиться на ее жизнь. Один раз она пришла к нему в кухню, где он шил, застирать полотенцы и разговорилась с ним об его житье, как брат его обижал и как он отделился от него.

– Думал – лучше будет, а все то же, нужда.

– Лучше не менять, а как живешь, так и живи, – сказала Мария Семеновна.

– Да я и то на тебя, Мария Семеновна, дивлюсь, как ты все одна да одна во все концы на людей хлопочешь. А от них добра, я вижу, ма-

ло.

Мария Семеновна ничего не сказала.

– Должно, ты по книгам дошла, что награда за это будет на том свете.

– Про это нам неизвестно, – сказала Мария Семеновна, – а только жить так лучше.

– А в книгах это есть?

– И в книгах есть, – сказала она и прочла ему нагорную проповедь из Евангелия. Портной задумался. И когда рассчитался и пошел к себе, все думал о том, что видел у Марии Семеновны и что она сказала и прочла ему.

XVII

Петр Николаич изменился к народу, и народ изменился к нему. Не прошло и года, как они срубили двадцать семь дубов и сожгли незастрахованную ригу и гумно. Петр Николаич решил, что жить с здешним народом нельзя.

В это же время Ливенцовы искали управляющего на свои имения, и предводитель рекомендовал Петра Николаича, как лучшего хозяина в уезде. Именья ливенцовские, огромные, не давали ничего дохода, и кре-

стьяне пользовались всем. Петр Николаич взялся привести всё в порядок и, отдав свое имение в аренду, переехал с женой в дальнюю поволжскую губернию.

Петр Николаич и всегда любил порядок и законность, а теперь тем более не мог допустить того, чтобы этот дикий, грубый народ мог бы, противно закону, завладеть не принадлежащей им собственностью. Он был рад случаю поучить их и строго взялся за дело. Одного крестьянина он за покражу леса засудил в острог, другого собственноручно избил за то, что тот не свернул с дороги и не снял шапку. О лугах, про которые шел спор и крестьяне считали своими, Петр Николаич объявил крестьянам, что если они выпустят на них скотину, то он заарестует ее.

Пришла весна, и крестьяне, как они делали это в прежние года, выпустили скотину на барские луга. Петр Николаич собрал всех работников и велел загнать скотину на барский двор. Мужики были на пахоте, и потому, работники, несмотря на крики баб, загнали скотину. Вернувшись с работы, мужики, собравшись, пришли на барский двор требовать

скотину. Петр Николаич вышел к ним с ружьем за плечами (он только что вернулся с объезда) и объявил им, что скотину он отдаст не иначе, как по уплате пятидесяти копеек с рогатой и десяти с овцы. Мужики стали кричать, что луга ихние, что их и отцы и деды ими владели и что нет таких нравов забирать чужую скотину.

– Отдай скотину, не то худо будет, – сказал один старик, наступая на Петра Николаича.

– Что худо будет? – весь бледный, подступая к старику, закричал Петр Николаич.

– От греха отдай. Шаромыжник.

– Что? – крикнул Петр Николаич и ударил в лицо старика.

– Ты драться не смеешь. Ребята, бери силой скотину.

Толпа надвинулась. Петр Николаич хотел уйти, но его не пускали. Он стал пробиваться. Ружье выстрелило и убило одного из крестьян. Сделалась крутая свалка, Петра Николаича смяли. И через пять минут изуродованное тело его стащили в овраг.

Над убийцами назначили военный суд, и двоих приговорили к повешению.

XVIII

В селе, из которого был портной, пять богатых крестьян снимали у помещика за тысячу сто рублей сто пять десятин пахотной, черной, как деготь, жирной земли и раздавали ее мужичкам же, кому по восемнадцати, кому по пятнадцати рублей. Ни одна земля не шла ниже двенадцати. Так что барыш был хороший. Сами покупщики брали себе по пяти десятин, и земля эта приходилась им даром. Умер у этих мужиков товарищ, и предложили они хромоту портному идти к ним в товарищи.

Когда стали наемщики делить землю, портной не стал пить водку, и, когда речь зашла о том, кому сколько земли дать, портной сказал, что обложить всех надо поровну, что не надо брать лишнего с наемщиков, а сколько придется.

– Как так?

– Да али мы нехристи. Ведь это хорошо господам, а мы хрестьяне. По-божьему надо. Такой закон Христов.

– Где же закон такой?

– А в книге, в Евангелии. Вот приходи воскресенье, я почитаю и потолкуем.

И <в> воскресенье пришли не все, но трое к портному, и стал он им читать.

Прочел пять глав Матвея, стали толковать. Все слушали, но принял только один Иван Чуев. И так принял, что стал во всем жить по-божьему. И в семье его так жить стали. От земли лишней отказался, только свою долю взял.

И стали к портному и к Ивану ходить, и стали понимать, и поняли, и бросили курить, пить, ругаться скверными словами, стали друг другу помогать. И перестали ходить в церковь и снесли попу иконы. И стало таких дворов семнадцать. Всех шестьдесят пять душ. И испугался священник и донес архиерею. Архиерей подумал, как быть, и решил послать в село архимандрита Мисаила, бывшего законоучителем в гимназии.

XIX

Архиерей посадил Мисаила с собой и стал говорить о том, какие новости проявились в его епархии.

– Все от слабости духовной и от невежества. Ты человек ученый. Я на тебя надеюсь. Поезжай, созови и при народе разъясни.

– Если владыка благословит, буду стараться, – сказал отец Мисаил. Он был рад этому поручению. Все, где он мог показать, что он верит, радовало его. А обращая других, он сильнее всего убеждал себя, что он верит.

– Постарайся, очень я страдаю за свою паству, – сказал архиерей, неторопливо принимая белыми, пухлыми руками стакан чая, который подавал ему служка.

– Что ж одно варенье, принеси другого, – обратился он к служке. – Очень, очень мне больно, – продолжал он речь к Мисаилу.

Мисаил был рад себя заявить. Но, как человек небогатый, попросил денег на расходы поездки и, опасаясь противодействия грубого народа, попросил еще распоряжения губернатора о том, чтобы местная полиция в случае

надобности оказывала ему содействие.

Архиерей все устроил ему, и Мисаил, собравши с помощью своего служки и кухарки погребец и провизию, которою нужно было запастись, отправляясь в глухое место, поехал к месту назначения. Отправляясь в эту командировку, Мисаил испытывал приятное чувство сознания важности своего служения и притом прекращения всяких сомнений в своей вере, а напротив, совершенную уверенность в истинности ее.

Мысли его были направлены не на сущность веры, – она признавалась аксиомой, – а на опровержение тех возражений, которые делались по отношению ее внешних форм.

Священник села и попадья приняли Мисаила с большим почетом и на другой день его приезда собрали народ в церкви. Мисаил в новой шелковой рясе, с крестом наперсным и расчесанными волосами, вошел на амвон, рядом с ним стал священник, поодаль дьячки, певчие, а у боковых дверей полицейские. Пришла и сектанты – и в засаленных, корявых полушубках.

После молебна Мисаил прочел проповедь, увещевая отпадших вернуться в лоно матери-церкви, угрожая муками ада и обещая полное прощение покаявшимся.

Сектанты молчали. Когда их стали спрашивать, они отвечали.

На вопрос о том, почему они отпали, они отвечали, что в церкви почитают деревянных и рукотворенных богов и что в писании не только не показано это, но в пророчествах показано обратное. Когда Мисаил спросил Чуева, правда ли то, что они святые иконы называют досками, Чуев отвечал: «Да ты переверни, какую хочешь, икону, сам увидишь». Ко-

гда их спросили, почему они не признают священство, они отвечали, что в писании сказано: «Даром получили, даром и давайте», а попы только за деньги свою благодать раздают. На все попытки Мисаила опереться на Священное писание портной и Иван спокойно, но твердо возражали, указывая на писание, которое они твердо знали. Мисаил рассердился, пригрозил властью мирской. На это сектанты сказали, что сказано: «Меня гнали – и вас будут гнать».

Кончилось ничем, и все бы прошло хорошо, но на другой день у обедни Мисаил сказал проповедь о зловредности совратителей, о том, что они достойны всякой кары, и в народе, выходявшем из церкви, стали поговаривать о том, что стоило бы проучить безбожников, чтобы они не смущали народ. И в этот день, в то время как Мисаил закусывал семгой и сигом с благочинным и приехавшим из города инспектором, в селе сделалась свалка. Православные столпились у избы Чуева и ожидали их выхода, чтобы избить их. Сектантов было человек двадцать мужчин и женщин. Проповедь Мисаила и теперь сорище

православных, и их угрожающие речи вызвали в сектантах злое чувство, которого не было прежде. Завечерело, пора было бабам коров доить, а православные все стояли и ждали и вышедшего было малого побили и загнали опять в избу. Толковали, что делать, и не соглашались.

Портной говорил: терпеть надо и не обороняться. Чуев же говорил, что если так терпеть, они всех перебьют, и, захватив кочергу, вышел на улицу. Православные бросились на него.

– Ну-ка, по закону Моисея, – крикнул он и стал бить православных и вышиб одному глаз, остальные выскочили из избы и вернулись по домам.

Чуева судили и за совращение и за богохульство приговорили к ссылке.

Отцу же Мисаилу дали награду и сделали архимандритом.

XXI

Два года тому назад из земли Войска Донского приехала в Петербург на курсы здорвая, восточного типа, красивая девушка Турчанинова. Девушка эта встретила в Петербурге с студентом Тюриным, сыном земского начальника Симбирской губернии, и полюбила его, но полюбила она не обыкновенной женской любовью с желанием стать его женой и матерью его детей, а товарищеской любовью, питавшейся преимущественно одинаковым возмущением и ненавистью не только к существующему строю, но и к людям, бывшим его представителями, и сознанием своего умственного, образовательного и нравственного превосходства над ними.

Она была способна учиться и легко запоминала лекции и сдавала экзамены и, кроме того, поглощала новейшие книги в огромном количестве. Она была уверена, что и призвание ее не в том, чтобы рожать и воспитывать детей, — она даже с гадливостью и презрением смотрела на такое призвание, — а в том, чтобы разрушить существующий строй, ско-

вызывающий лучшие силы народа, и указать людям тот новый путь жизни, который ей указывался европейскими новейшими писателями. Полная, белая, румяная, красивая, с блестящими черными глазами и большой черной косой, она вызывала в мужчинах чувства, которых она не хотела, да и не могла разделять, – так она была вся поглощена своей агитационной, разговорной деятельностью. Но ей все-таки было приятно, что она вызывала эти чувства, и потому она хоть и не наряжалась, не пренебрегала своей наружностью. Ей приятно было, что она нравится, а на деле может показать, как она презирает то, что так ценится другими женщинами. В своих взглядах на средства борьбы с существующим порядком она шла дальше большинства своих товарищей и своего друга Тюрина и допускала, что в борьбе хороши и могут быть употребляемы все средства, до убийства включительно. А между тем эта самая революционерка Катя Турчанинова была в душе очень добрая и самоотверженная женщина, всегда непосредственно предпочитавшая чужую выгоду, удовольствие, благосостояние

своей выгоде, удовольствию, благосостоянию и всегда истинно радовавшаяся возможности сделать кому-нибудь – ребенку, старику, животному – приятное.

Лето Турчанинова проводила в приволжском уездном городе, у товарки своей, сельской учительницы. В этом же уезде у отца жил и Тюрин. Все трое, вместе с уездным врачом, часто видались, обменивались книгами, спорили и возмущались. Именьем Тюриных было рядом с тем именьем Ливенцовых, куда управляющим поступил Петр Николаич. Как скоро приехал Петр Николаич и взялся за порядки, молодой Тюрин, видя в ливенцовских крестьянах самостоятельный дух и твердое намерение отстаивать свои права, заинтересовался ими и часто ходил в село и разговаривал с крестьянами, развивая среди них теорию социализма вообще и в частности национализации земли.

Когда случилось убийство Петра Николаича и наехал суд, кружок революционеров уездного города имел сильный повод для возмущения судом и смело высказывал ему. То, что Тюрин ходил в село и говорил с крестья-

нами, было выяснено в суде. У Тюрина сделали обыск, нашли несколько революционных брошюр, в студента арестовали и свезли в Петербург.

Турчанинова уехала за ним и пошла в тюрьму для свидания, но ее не пустили в обыкновенный день, а допустили только в день общих свиданий, где она виделась с Тюриным через две решетки. Свидание это еще усилило ее возмущение. Довело же до крайнего предела ее возмущение ее объяснение с красавцем жандармским офицером, который, очевидно, готов был на снисхождение в случае ее принятия его предложений. Это довело ее до последней степени негодования и злобы против всех начальствующих лиц. Она пошла к начальнику полиции жаловаться. Начальник полиции сказал ей то же, что говорил и жандарм, что они ничего не могут, что на это есть распоряжение министра. Она подала докладную записку министру, прося свидания; ей отказали. Тогда она решилась на отчаянный поступок и купила револьвер.

Министр принимал в свой обыкновенный час. Он обошел трех просителей, принял губернатора и подошел к черноглазой, красивой, молодой женщине в черном, стоявшей с бумагой в левой руке. Ласково-похотливый огонек загорелся в глазах министра при виде красивой просительницы, но, вспомнив свое положение, министр сделал серьезное лицо.

– Что вам угодно? – сказал он, подойдя к ней.

Она, не отвечая, быстро вынула из-под пелеринки руку с револьвером и, уставив его в грудь министра, выстрелила, но промахнулась.

Министр хотел схватить ее руку, она отшатнулась и выстрелила другой раз. Министр бросился бежать. Ее схватили. Она дрожала и не могла говорить. И вдруг расхохоталась истерически. Министр не был даже ранен.

Это была Турчанинова. Ее посадили в дом предварительного заключения. Министр же, получив поздравления и соболезнования от самых высокопоставленных лиц и даже само-

го государя, назначил комиссию исследования того заговора, последствием которого было это покушение.

Заговора, разумеется, никакого не было; но чины тайной и явной полиции старательно принялись за разыскивание всех нитей несуществовавшего заговора и добросовестно заслуживали свое жалованье и содержание: вставая рано утром, в темноте, делали обыск за обыском, переписывали бумаги, книги, читали дневники, частные письма, делали из них на прекрасной бумаге прекрасным почерком экстракты и много раз допрашивали Турчанинову и делали ей очные ставки, желая выведать у нее имена ее сообщников.

Министр был по душе добрый человек и очень жалел эту здоровую, красивую казачку, но он говорил себе, что на нем лежат тяжелые государственные обязанности, которые он исполняет, как они ни трудны ему. И когда его бывший товарищ, камергер, знакомый Тюриных, встретился с ним на придворном бале и стал просить его за Тюрина и Турчанинову, министр пожал плечами, так что сморщилась красная лента на белом жилете,

и сказал:

– Je ne demanderais pas mieux que de lâcher cette pauvre fillette, mais vous savez – le devoir [1].

А Турчанинова между тем сидела в доме предварительного заключения и иногда спокойно перестукивалась с товарищами и читала книги, которые ей давали, иногда же вдруг впадала в отчаяние и бешенство, билась о стены, визжала и хохотала.

XXIII

Получила раз Мария Семеновна в казначействе свою пенсию и, возвращаясь назад, встретила знакомого учителя.

– Что, Мария Семеновна, казну получили? – прокричал он ей с другой стороны улицы.

– Получила, – ответила Мария Семеновна, – только дыры заткнуть.

– Ну, денег много, и дыры заткнете, останется, – сказал учитель и, прощаясь, прошел.

– Прощайте, – сказала Мария Семеновна и, глядя на учителя, совсем столкнулась с высоким человеком с очень длинными руками и

строгим лицом.

Но, подходя к дому, она удивилась, увидав опять этого же длиннорукого человека. Увидав, как она вошла в дом, он постоял, повернулся и ушел.

Марии Семеновне стало сначала жутко, потом грустно. Но когда она вошла в дом и раздала гостинцы и старику и маленькому золотушному племяннику Феде и приласкала визжавшую от радости Трезорку, ей опять стало хорошо, и она, отдав деньги отцу, взялась за работу, которая никогда не переводилась у ней.

Человек, с которым она столкнулась, был Степан.

Из постоянного двора, где Степан убил дворника, он не пошел в город. И удивительное дело, воспоминание об убийстве дворника не только не было ему неприятно, но он по нескольку раз в день вспоминал его. Ему было приятно думать, что он может сделать это так чисто и ловко, что никто не узнает и не помешает это делать и дальше и над другими. Сидя в трактире за чаем и водкой, он приглядывался к людям все с той же стороны: как

можно убить их. Ночевать он зашел к земляку, ломовому извозчику. Извозчика дома не было. Он сказал, что подождет, и сидел, разговаривая с бабой. Потом, когда она повернулась к печи, ему пришло в голову убить ее. Он удивился, покачал на себя головой, потом достал из голенища нож и, повалив ее, перерезал ей горло. Дети стали кричать, он убил их и ушел, не ночуя, из города. За городом, в деревне, он вошел в трактир и там выпался.

На другой день он пришел опять в уездный город и на улице слышал разговор Марии Семеновны с учителем. Ее взгляд испугал его, но все-таки он решил забраться в ее дом и взять те деньги, которые она получила. Ночью он взломал замок и вошел в горницу. Первая услышала его меньшая, замужняя дочь. Она закричала. Степан тотчас же зарезал ее. Зять проснулся и сцепился с ним. Он ухватил Степана за горло и долго боролся с ним, но Степан был сильнее. И, покончив с зятем, Степан, взволнованный, возбужденный борьбой, пошел за перегородку.

За перегородкой лежала в постели Мария Семеновна и, поднявшись, смотрела на Степа-

на испуганными, короткими глазами и крестилась. Взгляд ее опять испугал Степана. Он опустил глаза.

– Где деньги? – сказал он, не поднимая глаз.

Она молчала.

– Где деньги? – сказал Степан, показывая ей нож.

– Что ты? Разве можно? – сказала она.

– Стало быть, можно.

Степан подошел к ней, готовясь ухватить ее за руки, чтобы она не мешала ему, но она не подняла рук, не противилась и только прижала их к груди и тяжело вздохнула и повторила:

– Ох, великий грех. Что ты? Пожалей себя. Чужие души, а пуще свою губишь... О-ох! – вскрикнула она.

Степан не мог больше переносить ее голоса и взгляда и полоснул ее ножом по горлу. – «Разговаривать с вами». – Она опустилась на подушки и захрипела, обливая подушку кровью. Он отвернулся и пошел по горницам, собирая вещи. Обобраз, что нужно было, Степан закурил папироску, посидел, почистил свою

одежду и вышел. Он думал, что и это убийство сойдет ему, как прежние, но, не дойдя до ночлега, вдруг почувствовал такую усталость, что не мог двинуть ни одним членом. Он лег в канаву и пролежал в ней остаток ночи, весь день и следующую

Часть вторая

I

Лежа в канаве, Степан не переставая видел перед собой кроткое, худое, испуганное лицо Марии Семеновны и слышал ее голос: «Разве можно?» – говорил ее особенный, ее шепелявящий, жалостный голос. И Степан опять переживал все то, что он сделал с нею. И ему становилось страшно, и он закрывал глаза и мотал своей волосатой головой, чтоб вытряхнуть из нее эти мысли и воспоминания. И на минутку он освобождался от воспоминаний, но на место их являлся ему сначала один, другой черный, и за другим шли еще другие черные с красными глазами и делали рожи, и все говорили одно: «С ней покончил – и с собой покончи, а то не дадим покоя». И он открывал глаза и опять видел ее и слышал ее голос, и ему становилось жалко ее и гадко и страшно на себя. И он опять закрывал глаза, и опять – черные.

К вечеру другого дня он поднялся и пошел

в кабак. Насилу добрел до кабака и стал пить. Но сколько ни пил, хмель не брал его. Он молча сидел за столом и пил стакан за стаканом. В кабак пришел урядник.

– Ты чей будешь? – спросил его урядник.

– А тот самый, я вчерась у Добротворова всех перерезал.

Его связали и, продержав день при становой квартире, отправили в губернский город. Смотритель тюрьмы, узнав в нем прежнего своего арестанта-буяна и теперь великого злодея, строго принял его.

– Смотри, у меня не шалить, – нахмуря свои брови и выставив нижнюю челюсть, прохрипел смотритель. – Если только замечу что – заporю. От меня не убежишь.

– Что мне бегать, – отвечал Степан, опустив глаза, – я сам в руки дался.

– Ну, со мной не разговаривать. А когда начальство говорит, смотри в глаза, – крикнул смотритель и ударил его кулаком под челюсть.

Степану в это время опять представилась она и слышался ее голос. Он не слышал того, что говорил ему смотритель.

– Чаво? – спросил он, опомнившись, когда почувствовал удар по лицу.

– Ну, ну – марш, нечего прикидываться.

Смотритель ждал буйства, переговоров с другими арестантами, попыток к бегству. Но ничего этого не было. Когда ни заглядывал в дырку его двери вахтер или сам смотритель, Степан сидел на набитом соломой мешке, подперев голову руками, и все что-то шептал про себя. На допросах следователя он тоже был не похож на других арестантов: он был рассеян, не слушал вопросов; когда же понимал их, то был так правдив, что следователь, привыкший к тому, чтобы бороться ловкостью и хитростью с подсудимыми, здесь испытывал чувство, подобное тому, которое испытываешь, когда в темноте на конце лестницы поднимаешь ногу на ступень, которой нету. Степан рассказывал про все свои убийства, нахмутив брови и устремив глаза в одну точку, самым простым, деловитым тоном, стараясь вспомнить все подробности: «Вышел он, – рассказывал Степан про первое убийство, – босой, стал в дверях, я его, значит, долбанул раз, он и захрипел, я тогда сейчас взял-

ся за бабу»... и т. д. При обходе прокурором камер острога у Степана спросили, не имеет ли он жалоб и не нужно ли чего. Он отвечал, что ему ничего не нужно и что его не обижают. Прокурор, пройдя несколько шагов по вонючему коридору, остановился и спросил у сопровождающего его смотрителя, как себя ведет этот арестант?

– Не надивлюсь на него, – отвечал смотритель, довольный тем, что Степан похвалил обращение с ним. – Второй месяц он у нас, примерного поведения. Только боюсь, не задумывает ли чего. Человек отважный и силы непомерной.

Первый месяц тюрьмы Степан не переставая мучался все тем же: он видел серую стену своей камеры, слышал звуки острога – гул под собой в общей камере, шаги часового по коридору, стук часов и вместе с тем видел ее – с ее кротким взглядом, который победил его еще при встрече на улице, и худой, морщинистой шеей, которую он перерезал, и слышал ее умильный, жалостный, шепелявый голос: *«Чужие души и свою губишь. Разве это можно?»* Потом голос затихал, и являлись те трое – черные. И являлись всё равно, закрыты или открыты были глаза. При закрытых глазах они являлись явственнее. Когда Степан открывал глаза, они смешивались с дверями, стенами и понемногу пропадали, но потом опять выступали и шли с трех сторон, делая рожи и приговаривая: покончи, покончи. Петлю можно сделать, зажечь можно. И тут Степана прохватывала дрожь, и он начал читать молитвы, какие знал: «Богородицу», «Вотче», и сначала как будто помогало. Читая молитвы, он начинал вспоминать свою

жизнь: вспоминал отца, мать, деревню, Волчка-собаку, деда на печке, скамейки, на которых катался с ребятами, потом вспоминал девок с их песнями, потом лошадей, как их увели и как поймали конокрада, как он камнем добил его. И вспоминался первый острог, и как он вышел, и вспоминал толстого дворника, жену извозчика, детей и потом опять вспоминал ее. И ему становилось жарко, и он, спустив с плеч халат, вскакивал с нары и начинал, как зверь в клетке, скорыми шагами ходить взад и вперед по короткой камере, быстро поворачиваясь у запотелых, сырых стен. И он опять читал молитвы, но молитвы уже не помогали.

В один из длинных осенних вечеров, когда в трубах свистел и гудел ветер, он, набегавшись по камере, сел на койку и почувствовал, что бороться больше нельзя, что черные одолели, и он покорился им. Он давно уже приглядывался к отдушнику печи. Если обхватить его тонкими бечевками или тонкими лентами полотна, то не соскользнет. Но надо было это умно устроить. И он взялся за дело и два дня готовил полотняные ленты из мешка,

на котором спал (когда входил вахтер, он накрывал койку халатом). Ленты он связывал узлами и делал их двойные, чтобы они не оборвались, а сдержали тело. Пока он готовил все это, он не мучался. Когда все было готово, он сделал мертвую петлю, надел ее на шею, влез на кровать и повесился. Но только что стал высовываться у него язык, как ленты оборвались, и он упал. На шум вошел вахтер. Позвали фельдшера, и свели его в больницу. На другой день он совсем оправился, и его взяли из больницы и поместили уже не в отдельную, а в общую камеру.

В общей камере он жил среди двадцати человек, как будто был один, никого не видел, ни с кем не говорил и все так же мучался. Особенно тяжело ему было, когда все спали, а он не спал и по-прежнему видел ее, слышал ее голос, потом опять являлись черные с своими страшными глазами и дразнили его.

Опять, как прежде, он читал молитвы, и, как прежде, они не помогали.

Один раз, когда, после молитвы, она опять явилась ему, он стал молиться ей, ее душеньке, о том, чтоб она отпустила, простила его. И

когда он к утру повалился на примятый мешок, он крепко заснул, и во сне она, с своей худой, сморщенной, перерезанной шеей, пришла к нему.

– Что ж, простишь?

Она посмотрела на него своим кротким взглядом и ничего не сказала.

– Простишь?

И так до трех раз он спросил ее. Но она все-таки ничего не сказала. И он проснулся. С тех пор ему легче стало, и он как бы очнулся, оглянулся вокруг себя и в первый раз стал сближаться и говорить с своими товарищами по камере.

III

В одной камере с Степаном сидел Василий, опять попавшийся в воровстве и приговоренный к ссылке, и Чуев, тоже приговоренный на поселение. Василий все время или пел песни своим прекрасным голосом, или рассказывал товарищам свои похождения. Чуев же или работал, что-нибудь шил из платья или белья, или читал Евангелие и псалтырь.

На вопрос Степана о том, за что его сослали, Чуев объяснил ему, что его сослали за истинную веру Христову, за то, что обманщики-попы духа тех людей не могут слышать, которые живут по Евангелию и их обличают. Когда же Степан спросил Чуева, в чем евангельский закон, Чуев разъяснил ему, что евангельский закон в том, чтобы не молиться рукотворенным богам, а поклоняться в духе и истине. И рассказал, как они эту настоящую веру от безногого портного узнали на дележке земли.

– Ну, а за дурные дела что будет? – спросил Степан.

– Все сказано.

И Чуев прочел ему:

– «Когда же приидет сын человеческий во славе своей и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону свою, а козлов – по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: „Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал я, и вы дали мне есть; жаждал, и вы напоили меня; был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня; в темнице был, и вы пришли ко мне“. Тогда праведники скажут ему в ответ: „Господи! когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?“ И царь скажет им в ответ: „Истинно говорю вам; так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне“. То-

гда скажет и тем, которые по левую сторону: „Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его: ибо алкал я, и вы не дали мне есть; жаждал, и вы не напоили меня; был странником, и не приняли меня; был наг, и не одели меня; болен и в темнице, и не посетили меня“. Тогда и они скажут ему в ответ: „Господи! когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?“ Тогда скажет им в ответ: „Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне“. И пойдут сии в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную». (Матф. XXV, 31-46.)

Василий, присевший на полу против Чуева и слушавший чтение, одобрительно кивнул своей красивой головой.

– Верно, – решительно проговорил он, – идите, мол, проклятые, в муку вечную, никого не кормили, а сами жрали. Так им и надо. Ну-ка дай, я почитаю, – прибавил он, желая похвастаться своим чтением.

– Ну, а прощение разве не будет? – спросил

Степан, молча, опустив свою мохнатую голову, слушавший чтение.

– погоди, помолчи, – сказал Чуев Василью, который все приговаривал о том, как богатые ни странника не накормили, ни в темнице не посетили. – погоди, что ль, – повторил Чуев, перелистывая Евангелие. Найдя то, что искал, Чуев расправил большой, побелевшей в остроге, сильной рукой листы.

– «И вели в нем, – с Христом, значит, – начал Чуев, – на смерть и двух злодеев. И, когда пришли на место, называемое лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону.

Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают...» И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранник божий». Так же и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, надписанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злоде-

ев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унижал его и говорил: «Или ты не боишься бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, господи, когда приидешь во царствие твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе: ныне же будешь со мной в раю». (Луки XXIII, 32-43.)

Степан ничего не сказал и сидел задумавшись, как будто слушаая, но он ничего не слышал уже из того, что дальше читал Чуев.

«Так вот она в чем, истинная вера, – думал он. – Спасутся только те, кто кормил, поил бедных, посещал заключенных, а в ад пойдут, кто не делал этого. А все-таки разбойник только на кресте покаялся, а и то пошел в рай». Он не видел тут никакого противоречия, а напротив, одно подтверждало другое: что милостивые пойдут в рай, а немилостивые – в ад, значило то, что всем надо быть милостивыми, а что разбойника Христос простил, значит, что и Христос был милостив.

Все это было совершенно ново для Степана; он только удивлялся, зачем это до сих пор было скрыто от него. И он все свободное время проводил с Чуевым, спрашивая и слушая. И, слушая, он понимал. Ему открылся общий смысл всего учения в том, что люди – братья и им надо любить и жалеть друг друга, и тогда всем хорошо будет. И когда он слушал, то воспринимал, как что-то забытое и знакомое, все, что подтверждало общий смысл этого учения, и пропускал мимо ушей то, что не подтверждало его, приписывая это своему непониманию.

И с этого времени Степан стал другим, человеком.

IV

Степан Пелагеюшкин и прежде был смирен, но в последнее время он поражал и зрителя, и вахтеров, и товарищей происшедшей в нем переменой. Он без приказанья, вне очереди, совершал все самые тяжелые работы, в том числе и очищение параши. Но, несмотря на эту свою покорность, сотоварищи уважали и боялись его, зная его твердость и большую физическую силу, особенно после случая с двумя бродягами, которые напали на него, но от которых он отбил, сломав одному из них руку. Бродяги эти взялись обыгрывать молодого богатенького арестанта и отобрали у него все, что у него было. Степан вступился за него и отнял у них выигранные деньги. Бродяги стали его ругать, потом бить, но он осилил их обоих. Когда же зритель дознавался, в чем ссора, бродяги объявили, что Пелагеюшкин стал бить их. Степан не оправдывался и покорно принял наказание, состоящее в трехдневном карцере и в перемещении в одиночную камеру.

Одиночная камера была для него тяжела

тем, что разлучила его с Чуевым и Евангелием, и, кроме того, он боялся, что возвратятся опять видения ее и черных. Но видений не было. Вся душа его была полна новым, радостным содержанием. Он бы был рад своему уединению, если бы он мог читать и у него было бы Евангелие. Евангелие дали бы ему, но читать он не мог.

Мальчиком он начал учиться грамоте по старинному: аз, буки, веди, но не пошел по непонятливости дальше азбуки и никак не мог понять тогда складов и так и остался безграмотным. Теперь же он решил выучиться и попросил у вахтера Евангелие. Вахтер принес ему, и он взялся за работу. Буквы он узнавал, но сложить ничего не мог. Сколько он ни бился, чтобы понять, как из букв складываются слова, ничего не выходило. Он ночи не спал, все думал, есть не хотелось, и от тоски на него такая вошь напала, что он не мог отгрестись от нее.

– Что ж, все не дошел? – спросил его раз вахтер.

– Нет.

– Да ты «Отче» знаешь?

– Знаю.

– Ну вот читай ее. Вот она, – и вахтер показал ему «Отче наш» в Евангелии.

Степан стал читать «Отче», сличая знакомые буквы с знакомыми звуками. И вдруг ему открылась тайна сложения букв, и он стал читать. Это была большая радость. И с тех пор он стал читать, и выделявшийся понемногу смысл из трудно составляемых слов получал еще большее значение.

Одиночество теперь уже не тяготило, но радовало Степана. Он был весь полон своим делом и не обрадовался, когда его, для того чтобы освободить камеры для вновь прибывших политических, перевели опять в общую камеру.

Теперь уже не Чуев, а Степан часто в камере читал Евангелие, и одни арестанты пели похабные песни, другие слушали его чтение и его разговоры о прочитанном. Так слушали его молча и внимательно всегда двое: каторжник, убийца, палач Махоркин и Василий, который попался в воровстве и, ожидая суда, сидел в том же остроге. Махоркин два раза во время своего содержания в тюрьме исполнял свои обязанности, оба раза в отъезде, так как не находилось людей, которые бы исполняли то, что присуживали судьи. Крестьяне, убившие Петра Николаича, были судимы военным судом, и два из них были приговорены к смертной казни через повешение.

Махоркина потребовали в Пензу для исполнения его обязанности. В прежнее время он в этих случаях тотчас же писал – он был хорошо грамотен – бумагу губернатору, в которой объяснял, что он командирован для исполнения своих обязанностей в Пензу, и потому просил начальника губернии о назначении ему причитающихся суточных кормовых

денег; теперь же он, к удивлению начальника тюрьмы, объявил, что он не поедет и не будет больше исполнять обязанности палача.

– А плети забыл? – крикнул начальник тюрьмы.

– Что ж, плети – так плети, а убивать закона нет.

– Что ж это ты, от Пелагвюшкина набрался? Нашелся пророк осторожный, погоди же ты.

VI

Между тем Махин, тот гимназист, который научил подделывать купон, кончил гимназию и курс в университете по юридическому факультету. Благодаря его успеху у женщин, у бывшей любовницы старика товарища министра, его совсем молодым назначили судебным следователем. Он был нечестный человек в долгах, соблазнитель женщин, картежник, но он был ловкий, сметливый, памятли- вый человек и умел хорошо вести дела.

Он был судебным следователем в том округе, где судился Степан Пелагеюшкин. Еще на первом допросе Степан удивил его своими

ответами, простыми, правдивыми и спокойными. Махин бессознательно чувствовал, что этот стоящий перед ним человек в кандалах и с бритой головой, которого привели и караулят и отведут под замок два солдата, что это человек вполне свободный, нравственно недостижимо высоко стоящий над ним. И поэтому, допрашивая его, он беспрестанно подбадривал себя и подстегивал, чтобы не смущаться и не путаться. Поражало его то, что Степан говорил про свои дела, как про что-то давно прошедшее, совершенное не им, а каким-то другим человеком.

– И тебе не жалко было их? – спрашивал Махин.

– Не жалко. Я не понимал тогда.

– Ну, а теперь?

Степан грустно улыбнулся.

– Теперь на огне меня жги, того бы не сделал.

– Отчего же?

– Оттого, что понял, что все люди братья.

– Что же, и я тебе брат?

– А то как же.

– Как же, я брат, а сужу тебя в каторгу?

- От непонятия.
- Что же я не понимаю?
- Не понимаете, коли судите.
- Ну, продолжаем. Потом ты куда пошел?..

Больше же всего поразило Махина то, что он узнал от зрителя о влиянии Пелагеюшкина на палача Махоркина, который, рискуя быть наказанным, отказался от исполнения своей обязанности.

VII

На вечере у Еропкиных, где были две барышни – богатые невесты, за которыми обеими ухаживал Махин, после пения романсов, в котором особенно отличался очень музыкальный Махин, – он и вторил прекрасно и аккомпанировал, – он рассказал очень верно и подробно – у него была прекрасная память – и совершенно безучастно про странного преступника, который обратил палача. Махин потому так хорошо и помнил и мог передать все, что он всегда был совершенно безучастен к тем людям, с которыми имел дело. Он не входил, не умел входить в душевное состояние других людей и потому-то и мог так хо-

рошо запоминать все, что происходило с людьми, что они делали, говорили. Но Пелагеюшкин заинтересовал его. Он не вошел в душу Степана, но невольно задался вопросом: что у него в душе, и, не найдя ответа, но чувствуя, что это что-то интересное, рассказал на вечере все дело: и соращение палача, и рассказы зрителя о том, как странно ведет себя Пелагеюшкин, и как читает Евангелие, и какое сильное влияние имеет на товарищей.

Всех заинтересовал рассказ Махина, но больше всех меньшую – Лизу Еропкину, семнадцатилетнюю девушку, только что вышедшую из института и только что опомнившуюся от темноты и тесноты ложных условий, в которых она выросла, и точно вынырнувшую из воды, страстно вдыхавшую в себя свежий воздух жизни. Она стала расспрашивать Махина о подробностях и о том, как, почему произошла такая перемена в Пелагеюшкине, и Махин рассказал то, что он слышал от Степана о последнем убийстве, и как кротость, покорность и бесстрашие смерти этой очень доброй женщины, которую он последнюю убил, победили его, открыли ему глаза и

как потом чтение Евангелия dokonчило дело.

Долго в эту ночь не могла Лиза Еропкина заснуть. В ней уже несколько месяцев шла борьба между светской жизнью, в которую увлекала ее сестра, и увлечением Махиным, соединенным с желанием исправить его. И теперь последнее взяло верх. Она и прежде слышала про убитую. Теперь же, после этой ужасной смерти и рассказа Махина со слов Пелагеюшкина, она до подробностей узнала историю Марии Семеновны и была поражена всем тем, что узнала о ней.

Лизе страстно захотелось быть такой Марией Семеновной. Она была богата и боялась, что Махин ухаживает за ней из-за денег. И она решила раздать свое имение и сказала об этом Махину.

Махин рад был случаю выказать свое бескорыстие и сказал Лизе, что он любит ее не из-за денег, и это, как ему казалось, великодушное решение тронуло его самого. У Лизы между тем началась борьба с ее матерью (имение было отцовское), не позволявшей раздавать имение. И Махин помогал Лизе. И чем больше он поступал так, тем больше он

понимал совсем другой, чуждый ему до тех пор мир духовных стремлений, который он видел в Лизе.

VIII

Все утихло в камере. Степан лежал на своем месте на нарах и не спал еще. Василий подошел к нему и, дернув его за ногу, мигнул ему, чтобы он встал и вышел к нему. Степан сполз с нар и подошел к Василью.

– Ну, брат, – сказал Василий, – ты уж потрудись, пособи мне.

– В чем пособить-то?

– Да вот бежать хочу.

И Василий открыл Степану то, что у него все готово, чтоб бежать.

– Завтра я их взбаламучу, – он указал на лежащих. – На меня скажут. Переведут в верхние, а уж там я знаю как. Только ты мне пробой из мертвецкой вышатай.

– Это можно. Куда пойдешь-то?

– А куда глаза глядят. Разве мало народу плохого?

– Это, брат, так, только не нам судить их.

– Да что ж, я разве душегуб какой. Я ни од-

ной души не погубил, а что воровать? Что ж тут плохого? Разве они не грабят нашего брата?

– Это их дело. Они отвечать будут.

– Да что ж им в зубы-то смотреть? Ну вот я церковь обобрал. Кому от этого худо? Я теперь хочу так сделать, чтобы не лавчонку, а хватить казну и раздавать. Добрым людям раздавать.

В это время поднялся с нар один арестант и стал прислушиваться. Степан и Василий разошлись.

На другой день Василий сделал, как хотел. Он стал жаловаться на хлеб, что сыр, подбил всех арестантов звать к себе смотрителя, заявить претензию. Смотритель пришел, обругал всех и, узнав, что затейщик всего дела Василий, велел посадить его отдельно в одиночную камеру верхнего этажа.

Этого только и нужно было Василью.

IX

Василий знал ту верхнюю камеру, в которую его посадили. Он знал пол в ней и как только попал туда, так стал разбирать пол. Когда можно было пролезть под пол, он разобрал потолочины и спрыгнул в нижний этаж, в мертвецкую. В этот день в мертвецкой лежал на столе один мертвый. В этой же мертвецкой были сложены мешки для сенников. Василий знал это и на эту камеру рассчитывал. Пробой в этой камере был вытащен и вложен. Василий вышел из двери и пошел в строящийся нужник в конце коридора. В этом нужнике была сквозная дыра с третьего этажа до нижнего, подвального. Ощупав дверь, Василий вернулся в мертвецкую, снял с холодного, как лед, мертвеца полотно (он коснулся его руки, когда снимал), потом взял мешки, связал их узлами так, чтобы сделать из них веревку, и снес эту веревку из мешков в нужник; там привязал веревку к перекладине и полез по ней вниз. Веревка не доставала до пола. Много ли, мало она не хватала – он не знал, но делать нечего было, он повис и

прыгнул. Ноги отбил, но ходить мог. В подвальном этаже было два окна. Пролезть можно бы, но вделаны железные решетки. Надо было выломать их. Чем? Василий стал шарить. В подвальном этаже лежали отрезки досок. Он нашел один отрезок с острым концом и стал им выворачивать кирпичи, державшие решетки. Долго он работал. Петухи второй раз уже пели, а решетка держалась. Наконец одна сторона вышла. Василий подsunул отрезок и понапер, решетка выворотилась вся, но упал кирпич и загремел. Часовые могли услышать, Василий замер. Все тихо. Он полез в окно. Вылез. Бежать ему надо было через стену. В углу двора была пристройка. Надо было влезть на эту пристройку и с нее через стену. Надо взять с собой отрезок доски. Без него не влезешь. Василий полез назад. Опять выполз с отрезком и замер, слушая, где часовой. Часовой, как он и рассчитал, ходил по другой стороне квадрата двора. Василий подошел к пристройке, приставил отрезок, полез. Отрезок соскользнул, упал. Василий был в чулках. Он снял чулки, чтобы цепляться ногами, поставил опять отрезок, вскочил

на него и ухватился рукой за желоб. – Батюшка, не оторвись, выдержи. – Он схватился за желоб, и вот коленка его на крыше. Часовой идет. Василий лег и замер. Часовой не видит и опять отходит. Василий вскакивает. Железо трещит под ногами. Еще шаг, два, вот стена. До стены легко достать рукой. Одна рука, другая, вытянулся весь, и вот на стене. Только бы не расшибиться, спрыгивая. Василий переворачивается, виснет на руках, вытягивается, пускает одну руку, другую, – господи, благовослови! – На земле. И земля мягкая. Ноги целы, и он бежит.

В предместье Маланья отпирает, и он залезает под стеганое из кусочков теплое, пропитанное запахом пота одеяло.

Х

Крупная, красивая, всегда спокойная, бездетная, полная, как яловая корова, жена Петра Николаича видела из окна, как убили ее мужа и потащили куда-то в поле. Чувство ужаса при виде этого побоища, которое испытала Наталья Ивановна (так звали вдову Петра Николаича), как это всегда бывает, было так сильно, что заглушило в ней все другие чувства. Когда же вся толпа скрылась за оградой сада и гул голосов затих, и босая Маланья, прислуживавшая им девка, с выпяченными глазами прибежала с известием, точно это было что-то радостное, что Петра Николаича убили и бросили в овраге, из-за первого чувства ужаса стало выделяться другое: чувство радости освобождения от деспота с закрытыми черными очками глазами, которые девятнадцать лет держали ее в рабстве. Она сама ужаснулась этому чувству, сама себе не призналась в нем, а тем более не высказала его никому. Когда обмывали изуродованное желтое, волосатое тело и одевали и укладывали в гроб, она ужасалась, плакала и рыдала. Когда

приехал следователь по особо важным делам и как свидетельницу допрашивал ее, она видела тут же, в квартире следователя, двух закованных крестьян, признанных главными виновниками. Один был уже старый с длинной белокурой бородой в завитках, с спокойным и строгим, красивым лицом, другой был цыганского склада, не старый человек с блестящими черными глазами и курчавыми, взъерошенными волосами. Она показывала, что знала, признала в этих самых людях тех, которые первые схватили за руки Петра Николаича, и, несмотря на то, что похожий на цыгана мужик, блестя и поводя глазами изпод движущихся бровей, укоризненно сказал: «Грех, барыня! Ох, умирать будем», – несмотря на это, ей нисколько не жалко было их. Напротив, во время следствия в ней поднялось враждебное чувство и желание отомстить убийцам мужа.

Но, когда через месяц дело, переданное в военный суд, было решено тем, что восемь человек были приговорены к каторжным работам, а двое, белобородый старик и черномазый цыганок, как его звали, были приговорен-

ны к повешению, она почувствовала что-то неприятное. Но неприятное сомнение это, под влиянием торжественности суда, скоро прошло. Если высшее начальство признает, что надо, то, стало быть, это хорошо.

Казнь должна была совершиться в селе. И, вернувшись в воскресенье от обедни, Маланья, в новом платье и новых башмаках, доложила барыне, что строят виселицу и к середине ждут палача из Москвы и что воют семейные не переставая, по всей деревне слышно.

Наталья Ивановна не выходила из дома, чтобы не видеть ни виселиц, ни народа, и одного желала: чтобы поскорее кончилось то, что должно быть. Она думала только о себе, а не о приговоренных и их семьях.

Во вторник к Наталье Ивановне заехал знакомый становой, Наталья Ивановна угостила его водкой и солеными грибочками ее приготовления. Становой, выпив водки и закусив, сообщил ей, что казни завтра еще не будет.

– Как? Отчего?

– Удивительная история. Палача не могли найти. Один был в Москве, и тот, рассказывал мне сын, начитался Евангелия и говорит: не могу убивать. Сам за убийство приговорен к каторжным работам, а теперь вдруг – не может по закону убивать. Ему говорили, что плетью сечь будут. Секите, говорит, а я не могу.

Наталья Ивановна вдруг покраснела, вспотела даже от мыслей.

– А нельзя их простить теперь?

– Как же простить, когда приговорены судом. Один царь простить может.

– Да как же царь узнает?

– Имеют право просить о помиловании.

– Да ведь их за меня казнят, – сказала глу-

пая Наталья Ивановна. – А я прощаю.

Становой засмеялся.

– Что ж, просите.

– Можно?

– Известно, можно.

– Да ведь теперь не успеешь?

– Можно телеграммой.

– К царю?

– Что ж, и к царю можно.

Известие о том, что палач отказался и готов пострадать скорее, чем убивать, вдруг перевернуло душу Натальи Ивановны, и то чувство сострадания и ужаса, которое просилось несколько раз наружу, прорвалось и захватило ее.

– Голубчик, Филипп Васильевич, напишите мне телеграмму. Я хочу просить у царя помилования.

Становой покачал головой.

– Как бы нам не влетело за это?

– Да ведь я в ответе. Я про вас не скажу.

«Эка добрая баба, – подумал становой, – хорошая баба. Кабы моя такая была, рай бы был, а не то, что теперь».

И становой написал телеграмму царю:

«Его Императорскому Величеству Государю Императору. Верноподданная Вашего Императорского Величества, вдова убитого крестьянами коллежского асессора Петра Николаевича Свентицкого, припадая к священным стопам (это место телеграммы особенно понравилось составлявшему ее становому) Вашего Императорского Величества, умоляет Вас помиловать приговоренных к смертной казни крестьян таких-то, такой-то губернии, уезда, волости, деревни».

Телеграмма была послана самим становым, и на душе у Натальи Ивановны было радостно, хорошо. Ей казалось, что если она, вдова убитого, прощает и просит помиловать, то царь не может не помиловать.

XII

Лиза Еропкина жила в непрерывающем восторженном состоянии. Чем дальше она шла по открывшемуся ей пути христианской жизни, тем увереннее она была, что это путь истинный, и тем радостнее ей становилось на душе.

У ней были теперь две ближайшие цели: первая обратиться Махина, или, скорее, как она говорила это себе, вернуть к себе, к своей доброй, прекрасной натуре. Она любила его, и при свете своей любви ей открывалось божественное его души, общее всем людям, но она видела в этом общем всем людям начале жизни его ему одному свойственную доброту, нежность, высоту. Другая цель ее была в том, чтобы перестать быть богатой. Она захотела освободиться от имущества, для того чтобы испытать Махина, а потом для себя, для своей души – по слову Евангелия захотела сделать это. Сначала она начала раздавать, но ее остановил отец, и еще больше, чем отец, толпа нахлынувших личных и письменных просителей. Тогда она решила обратиться к старцу,

известному своей святой жизнью, с тем чтобы он взял ее деньги и поступил с ними, как найдет нужным. Узнав это, отец рассердился и в горячем разговоре с ней назвал ее сумасшедшей, психопаткой и сказал, что он примет меры к тому, чтобы оградить ее, как сумасшедшую, от самой себя.

Сердитый, раздраженный тон отца передался ей, и она не успела опомниться, как злобно расплакалась и наговорила отцу грубостей, называя его деспотом и даже корыстолюбцем.

Она просила прощение у отца, он сказал, что не сердится, но она видела, что он был оскорблен и в душе не простил ее. Махину она не хотела говорить про это. Сестра, ревновавшая ее к Махину, совсем отдалилась от нее. Ей не с кем было поделиться своим чувством, не перед кем покаяться.

«Богу надо покаяться», – сказала она себе и, так как был великий пост, решила говеть и на исповеди сказать все духовнику и попросить его совета о том, как ей поступать дальше.

Недалеко от города был монастырь, в кото-

ром жил старец, прославившийся своей жизнью, поучениями и предсказаниями и исцелениями, которые приписывали ему.

Старец получил письмо от старого Еропкина, предупреждающее его о приезде дочери и об ее ненормальном, возбужденном состоянии и выражающее уверенность в том, что старец наставит ее на путь истинный – золотой середины, доброй христианской жизни, без нарушения существующих условий.

Усталый от приема, старец принял Лизу и стал спокойно внушать ей умеренность, покорность существующим условиям, родителям. Лиза молчала, краснела и потела, но когда он кончил, она с слезами, стоящими в глазах, начала говорить, сначала робко, о том, что Христос сказал: «Оставь отца и мать и иди за мной», потом, все больше и больше одушевляясь, высказала все то свое представление о том, как она понимала христианство. Старец сначала чуть улыбался и возражал обычными поучениями, но потом замолчал и стал вздыхать, только повторяя: «О господи».

– Ну, хорошо, приходи завтра исповедоваться, – сказал он и сморщенной рукой бла-

гословил ее.

На другой день он исповедовал ее и, не продолжая вчерашний разговор, отпустил ее, коротко отказавшись взять на себя распоряжение ее имуществом.

Чистота, полная преданность воле бога и горячность этой девушки поразили старца. Он давно уже хотел отречься от мира, но монастырь требовал от него его деятельности. Эта деятельность давала средства монастырю. И он соглашался, хотя смутно чувствовал всю неправду своего положения. Его делали святым, чудотворцем, а он был слабый, увлеченный успехом человек. И открывшаяся ему душа этой девушки открыла ему и его душу. И он увидал, как он был далек от того, чем хотел быть и к чему влекло его сердце.

Скоро после посещения Лизы он заперся в затвор и только через три недели вышел в церковь, служил и после службы сказал проповедь, в которой каял себя и уличал мир в грехе и призывал его к покаянию.

Каждые две недели он говорил проповеди. И на проповеди эти съезжалось все больше и больше народа. И слава его, как проповедни-

ка, разглашалась все больше и больше. Было что-то особенное, смелое, искреннее в его проповедях. И от этого он так сильно действовал на людей.

XIII

Между тем Василий сделал все, как хотел. С товарищами он ночью пролез к Краснопузову, богачу. Он знал, как он скуп и развратен, и залез в бюро и вынул деньгами тридцать тысяч. И Василий делал, как хотел. Он даже пить перестал, а давал деньги бедным невестам. Замуж отдавал, из долгов выкупал и сам скрывался. И только то и забота была, чтобы хорошо раздать деньги. Давал он и полиции. И его не искали.

Сердце у него радовалось. И когда все-таки взяли его, он на суде смеялся и хвалился, что деньги у толстопузого дурно лежали, он и счета им не знал, а я их в ход пустил, ими добрым людям помогал.

И защита его была такая веселая, добрая, что присяжные чуть не оправдали его. Приговорили его в ссылку.

Он поблагодарил и вперед сказал, что уй-

XIV

Телеграмма Свентицкой к царю не произвела никакого действия. В комиссии прошений сначала решили даже не докладывать о ней царю, но потом, когда за завтраком у государя зашла речь о деле Свентицкого, завтракавший у государя директор доложил про телеграмму от жены убитого.

– C'est très gentil de sa part[2], – сказала одна из дам царской фамилии.

Государь же вздохнул, пожал плечами с эполетами и сказал: «Закон», – и подставил бокал, в который камер-лакей наливал шипучий мозельвейн. Все сделали вид, что удивлены мудростью сказанного государем слова. И больше о телеграмме не было речи. И двух мужиков – старого и молодого – повесили с помощью выписанного из Казани жестокого убийцы и скотоложника, татарина-палача.

Старуха хотела одеть тело своего старика в белую рубаху, белые онучи и новые бахилки, но ей не позволили, и обоих закопали в одной яме за оградой кладбища.

– Мне говорила княгиня Софья Владимировна, что он удивительный проповедник, – сказала раз мать государя, старая императрица, своему сыну: – *Faites le venir. Il peut prêcher à la cathédrale*[3].

— Нет, лучше у нас, – сказал государь и велел пригласить старца Исидора.

В дворцовой церкви собралось все генеральство. Новый, необыкновенный проповедник был событием.

Вышел старичок седенький, худенький, оглянул всех: «Во имя отца и сына и святого духа», и начал.

Сначала шло хорошо, но что дальше, то хуже. «*Il devenait de plus en plus agressif*»[4], – как сказала потом императрица. Он громил всех. Говорил о казни. И приписывал необходимость казни дурному правлению. Разве в христианской стране можно убивать людей?

Все переглядывались, и всех занимало только неприличие и то, как неприятно это было государю, но никто не выказал этого. Когда Исидор сказал: «Аминь», – к нему подошел митрополит и попросил его к себе.

После беседы с митрополитом и обер-про-

курором старичка отправили тотчас же назад в монастырь, но не в свой, а в Суздальский, где настоятелем и комендантом был отец Михаил.

XV

Все сделали вид, что ничего неприятного не было от проповеди Исидора, и никто не упоминал про нее. И царю казалось, что слова старца не оставили в нем никакого следа, но раза два в продолжение дня он вспоминал о казни крестьян, о помиловании которых просила телеграммой Свентицкая. Днем был парад, потом выезд на гулянье, потом прием министров, потом обед, вечером театр. Как обыкновенно, царь заснул, как только донес голову до подушки. Ночью его разбудил страшный сон: в поле стояли виселицы, и на них качались трупы, и трупы высывали языки, и языки тянулись дальше и дальше. И кто-то кричал: «Твоя работа, твоя работа». Царь проснулся в поту и стал думать. В первый раз стал думать об ответственности, которая лежала на нем, и все слова старичка вспомнились ему...

Но он видел в себе человека только изда-лека и не мог отдаться простым требованиям человека из-за требований, со всех сторон предъявляемых к царю; признать же требования человека более обязательными, чем требования царя, у него не было сил.

XVI

Отбыв второй срок в остроге, Прокофий, этот бойкий, самолюбивый щеголь-малый, вышел оттуда совсем конченным человеком. Трезвый он сидел, ничего не делал и, сколько ни ругал его отец, ел хлеб, не работал и, мало того, норовил стащить что-нибудь в кабак, чтобы выпить. Сидел, кашлял, харкал и плевал. Доктор, к которому он ходил, послушал его грудь и покачал головой.

- Тебе, брат, надо того, чего у тебя нет.
- Это, известно, всегда надо.
- Пей молоко, не кури.
- Ныне и так пост, да и коровы нет.

Раз весною он всю ночь не спал, тосковал, хотелось ему выпить. Дома нечего захватить было. Надел шапку и вышел. Прошел по улице, дошел до попов. У дьячка борона наружу

стоит прислонена к плетню. Прокофий подошел, вскинул борону на спину и понес к Петровне в корчму. «Авось дает бутылочку». Не успел он отойти, как дьячок вышел на крыльцо. Уж совсем светло, – видит, Прокофий несет его борону.

– Эй, ты что?

Вышел народ, схватили Прокофия, посадили в холодную. Мировой судья присудил на одиннадцать месяцев в тюрьму.

Была осень. Прокофья перевели в больницу. Он кашлял и всю грудь разрывал. И не мог согреться. Кто посильнее был, те все-таки не дрожали. А Прокофий дрожал и день и ночь. Смотритель загонял экономию дров и не топил больницу до ноября. Больно страдал Прокофий телом, но хуже всего страдал духом. Все ему противно было, и ненавидел он всех: и дьячка, и смотрителя за то, что не топил, и вахтера, и соседа по койке с раздутой красной губой. Возненавидел и того новенького каторжного, которого привели к ним. Каторжный этот был Степан. Он заболел рожей на голове, и его перевели в больницу и положили рядом с Прокофьем. Сначала Прокофий возне-

навидел его, но потом полюбил его так, что ждал только того, когда поговорить с ним. Только после разговора с ним утишалась тоска в сердце Прокофья.

Степан всегда всем рассказывал свое последнее убийство и как оно подействовало на него.

– Не то что закричать или что, – говорил он, – а вот на, режь. Не меня, мол, себя пожалей.

– Ну, известно, душу загубить страшно, я и барана раз взялся резать, сам не рад был. А вот никого не загубил, а за что они меня, злодеи, погубили. Никому худого не делал...

– Что ж, это тебе все зачтется.

– Где там?

– Как где? А бог?

– Что-то не видать его; я, брат, не верю, – думаю, помрешь – трава вырастет. Вот и вся.

– Как же думаешь? Я сколько душ загубил, а она, сердечная, только людям помогала. Что же, думаешь, мне с ней одно будет? Нет, погоди...

– Так, думаешь, помрешь, душа останется?

– А то как же. Это верно.

Тяжело было Прокофью умирать, задыхался он. Но в последний час вдруг легко стало. Позвал он Степана.

– Ну, брат, прощай. Видно, пришла смерть моя. И вот боялся, а теперь ничего. Только скорей хочется.

И Прокофий помер в больнице.

XVII

Между тем дела Евгения Михайловича шли все хуже и хуже. Магазин был заложен. Торговля не шла. В городе открылся другой магазин, а проценты требовали. Надо было занимать опять за проценты. И кончилось тем, что магазин и весь товар был назначен к продаже. Евгений Михайлович и его жена бросались повсюду и нигде не могли достать тех четырехсот рублей, которые нужны были, чтобы спасти дело.

Была маленькая надежда на купца Краснопузова, любовница которого была знакома с женой Евгения Михайловича. Теперь же по всему городу было известно, что у Краснопузова украли огромные деньги. Рассказывали, что украли полмиллиона.

– И кто ж украл? – рассказывала жена Евгения Михайловича. – Василий, наш бывший дворник. Говорят, он швыряет теперь этими деньгами, и полиция подкуплена.

– Негодяй был, – сказал Евгений Михайлович. – Как он тогда легко на клятвопреступление пошел. Я никак не думал.

– Говорят, он заходил к нам на двор. Кухарка говорила, что он. Она говорит, что он четырнадцать бедных невест замуж отдал.

– Ну, они выдумают.

В это время какой-то странный пожилой человек в казинетовой куртке вошел в магазин.

– Что тебе?

– Вам письмо.

– От кого?

– Там написано.

– Что же, ответа не надо? Да подожди.

– Нельзя.

И странный человек, отдав конверт, торопливо ушел.

– Чудно!

Евгений Михайлович разорвал толстый конверт и не верил своим глазам: сторубле-

вые бумажки. Четыре. Что это? И тут же безграмотное письмо Евгению Михайловичу: «По Евангелию говорится, делай добро за зло. Вы мне много зла исделали с купоном и мужичка я дюже обидел, а я вот тебя жилею. На, возьми четыре екатеринки и помни своего дворника Василья».

– Нет, это удивительно, – говорил Евгений Михайлович, говорил и жене и сам себе. И когда вспоминал об этом или говорил об этом жене, слезы выступали у него на глаза и на душе было радостно.

XVIII

В Суздальской тюрьме содержалось четырнадцать духовных лиц, всё преимущественно за отступление от православия; туда же был прислан и Исидор. Отец Михаил принял Исидора по бумаге и, не разговаривая с ним, велел поместить его в отдельной камере, как важного преступника. На третьей неделе пребывания Исидора в тюрьме отец Михаил обходил содержащихся. Войдя к Исидору, он спросил: не нужно ли чего?

– Мне многое нужно, не могу сказать при

людях. Дай мне случай говорить с тобою наедине.

Они взглянули друг на друга, и Михаил понял, что ему бояться нечего. Он велел привести Исидора в свою келью и, когда они остались одни, сказал:

– Ну, говори.

Исидор упал на колени.

– Брат! – сказал Исидор. – Что ты делаешь? Пожалей себя. Ведь хуже нет злодея тебя, ты поругал все святое...

Через месяц Михаил подал бумаги об освобождении, как раскаявшихся, не только Исидора, но и семерых других и сам попросился в монастырь на покой.

XIX

Прошло десять лет.

Митя Смоковников кончил курс в техническом училище и был инженером с большим жалованьем на золотых приисках в Сибири. Ему надо было ехать по участку. Директор предложил ему взять каторжника Степана Пелагеюшкина.

– Как каторжника? Разве не опасно?

– С ним не опасно. Это святой человек.

Спросите у кого хотите.

– Да за что он?

Директор улыбнулся.

– Шесть душ убил, а святой человек. Уж я ручаюсь.

И вот Митя Смоковников принял Степана, плешивого, худого, загорелого человека, и поехал с ним.

Дорогой Степан ходил, как он ухаживал за всеми, где мог, как за своим детищем, за Смоковниковым и дорогой рассказал ему всю свою историю. И то, как и зачем и чем он живет теперь.

И удивительное дело. Митя Смоковников,

живший до тех пор только питьем, едой, картами, вином, женщинами, задумался в первый раз над жизнью. И думы эти не оставили его, а разворачивали его душу все дальше и дальше. Ему предлагали место, где была большая польза. Он отказался и решил на то, что у него было, купить имение, жениться и, как сумеет, служить народу.

XX

Он так и сделал. Но прежде приехал к отцу, с которым у него были неприятные отношения за новую семью, которую завел отец. Теперь же он решил сблизиться с отцом. И так и сделал. И отец удивлялся, смеялся над ним, а потом сам перестал нападать на него и вспомнил многие и многие случаи, где он был виноват перед ним.

Примечания

1

Я очень рад был бы отпустить эту бедную девочку, но вы понимаете – долг (*франц.*)

[^^^]

2

Это очень мило с ее стороны (*франц.*)

[^^^]

3

Пригласите его. Он может проповедовать в соборе (*франц.*)

[^^^]

4

Он становился все более и более агрессивным
(франц.)

[^^^]